МИР ИСКУССТВ В ОБРАЗАХ ПОЭЗИИ

АРХИТЕКТУРА СКУЛЬПТУРА ЖИВОПИСЬ ТАНЕЦ МУЗЫКА

СОБРАЛ
Е. БОРИЧЕВСКИЙ



КН—ВО
РАБОТНИК
ПРОСВЕЩЕНИЯ
МОСКВА 1922



Рисунки исполнены художником Л. Е. Фейнбергом.



ПРЕДИСЛОВИЕ.

В настоящей книге собраны стихи, изображающие произведения архитектуры, скульптуры, живописи, танца и музыки. Они размещены таким образом, что получилась своего рода история искусств, являющаяся как бы коллективным трудом поэтов.

Действуя одновременно средствами мысли, образа и звука, поэзия способна выразить то, что недоступно словам нашей будничной речи. Таким образом, на этих страницах дано какое-то решение задачи, почти неразрешимой для историка искусства: рассказать о непосредственной прелести изучаемых явлений. Попутно читатель найдет здесь также и картину тех художественных интересов, которыми жило русское общество с конца XVIII века до наших дней.

Расположение стихов соответствует обычному расположению материала в историях искусств. При их выборе руководящими принципами были следующие. В книгу вошли стихотворения и стихотворные отрывки, передающие индивидуальные черты художественного произведения и непосредственное впечатление, им производимое, или рисующие жизненный путь художника и его творческий лик. Те стихи, в которых произведение искусства служило поэту лишь поводом высказать какие-либо мысли общего характера, отбрасывались независимо от их художественных и иных достоинств. Из стихотворений, в поэтическом отношении спорных или слабых, в книгу вошли интересные или своим подходом к изображаемому предмету, или какими-либо частностями. Впрочем, составитель решался на это лишь в редких случаях из опасения понизить художественный уровень книги.

В сборнике сохранена пунктуация авторов.

ПРЕД ДРЕВНЕЙ СТАТУЕЙ.

Эти груди, плечи, руки
Если можешь ты облечь
В ярко-видимые звуки,
В осязаемую речь,
Если созданное стройно
Праксителевым резцом
Передашь, его достойно,
Твердо-мраморным стихом,
Просветленный наслажденьем,
Камень дышащий лица,
Груди страстное волненье—
Изваянне резца
Передашь иным ваяньем—
Слова мощного огнем,
Породнив своим созданьем,
Все сольешь искусства в нем:
Я тогда в тебе поэта
Не задумаюсь признать...
Силы духа, бога света
На челе твоем печать...
Жизни каждое явленье
Возведешь до красоты,
И величию творенья
Дашь ты образ простоты.

Н. Щербина.



АРХИТЕКТУРА

ЕГИПЕТСКИЙ РАБ.

Я—жалкий раб царя. С восхода до заката,
Среди других рабов, свершаю тяжкий труд,
И хлеба кус гнилой—единственная плата
За слезы и за пот, за тысячи минут.

Когда порой душа отчаяньем объята,
Над сгорбленной спиной свистит жестокий кнут,
И каждый новый день товарища иль брата
В могилу общую крюками волокут.

Я—жалкий раб царя, и жребий мой безвестен;
Как утренняя тень, исчезну без следа,
Меня с лица земли века сотрут, как плесень;

Но не исчезнет след упорного труда,
И вечность простоит, близ озера Мерида,
Гробница царская, святая пирамида.

Валерий Брюсов.

ПЭСТУМСКИЙ ХРАМ.

Твоей святыни древний порог узрев,
Вожатым Музам, и совершительным
Судьбам, и Счастью Дня, и Солнцу,
Гений Эллады, творю обеты!

Тобой созданный вижу сих глыб упор,
Подъявший мощно славу надстолпия,
Как лира—гимн Терпандра! Вижу
Камней созвучье! Благоговейно

Вхожу с молитвой: вечно живете вы
В ограде тесной, вы, к полоненному
Столпов двойным венцом Олимпу
Лик возносившие лучезарный!

Святей молитва в храмах оставленных,
И глас твой громче, царь Посидон, звучит
Из-за пустыни травянистой
В гордом безлюдьи твоих святилищ!

Сих плит истлевших золототенные
Несли ступени многую дань морей:
Дары пловцов, тобой спасенных,
Ценных сосудов литое бремя.

Блужданий долгих из киммерийских волн
Обретши пристань, пред алтари твои
С чем приступлю—певец смиренный?
С древним напевом ожившей лиры.

Вячеслав Иванов.

ПАРФЕНОН.

Мне будет вечно дорог день,
Когда вступил я, Пропилеи,
Под вашу мраморную сень,
Что пены волн морских белее,
Когда, священный Парфенон,
Я увидал в лазури чистой
Впервые мрамор золотистый
Твоих божественных колонн,
Твой камень, солнцем весь облитый,
Прозрачный, теплый и живой,
Как тело юной Афродиты,
Рожденной пеною морской.
Здесь было все душе родное,
И Саламин, и Геликон,

И это море голубое
Меж белых, девственных колонн.
С тех пор душе моей святыня,
О, скудной Аттики земля,—
Твоя печальная пустыня,
Твои сожженные поля.

Д. Мережковский.

АКРОПОЛЬ.

Серый шифер. Белый тополь.
Пламенеющий залив.
В серебристой мгле олив
Усеченный холм—Акрополь.
Ряд рассеченных ступеней,
Портик тяжких Пропилей,
И за грудами камений,
В сетке легких синих теней,
Искры мраморных аллей.
Небо знойно и бездонно—
Веет синим огоньком.
Как струна, звенит колонна
С ионийским завитком.
За извивами Кефиза
Заплелись уступы гор
В рыже-огненный узор...
Луч заката брызнул снизу...
Над долиной сноп огней...
Реет пламенем над ней он
В горне бронзовых лучей
Загорелый Эрехтейон...
Ночь взглянула мне в лицо.
Черны ветви кипариса.
А у ног, свернув кольцо,
Спит театр Диониса.

Максимилиан Волошин.

АЙЯ-СОФИЯ.

Айя-София—здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи подвешен к небесам.

И всем пример —года Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов.

Куда ж стремился твой строитель щедрый,
Когда, душой и помыслом высок,
Расположил апсиды и экседры,
Им указав на запад и восток?

Прекрасен храм, купающийся в мире,
И сорок окон—света торжество;
На парусах, под куполом, четыре
Архангела прекраснее всего.

И мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет,
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот.

О. Мандельштам.

ПАДАЮЩАЯ БАШНЯ.

Точно в платье подвенечном тонкий стан ты преклонила;
Или вправду ты—невеста, золотая кампанила?
В кружевах окаменелых, в многоярусных колоннах,
В этом небе густо-синем ты мечта для глаз влюбленных!
И когда спиралью шаткой я всходил, и сердце ныло,
Близко билось чье-то сердце—не твое ли, кампанила?
В бездну падали колонны, и над сизыми холмами
Облака сплывались в цепи и кружились вместе с нами.

И я думал: там за далью целый мир пройдешь безбрежный,—
Чуда равного не встретишь этой девственнице нежной!
И я думал: чары знаешь, а напрасно ворожила:
Будешь ждать его веками, не дождешься, кампанила!

Валериан Бородаевский.

* * *

Я не люблю церквей, где зодчий
Слышнее Бога говорит,
Где гений в споре с волей Отчей,
В ней не затерян, с ней не слит,

Где человечий дух тщеславный
Как бы возносится над ней,—
Мне византийский купол плавный
Колючей готики родней.

Собор Миланский! Мне чужая
Краса!—Дивлюсь ему и я.—
Он, точно небу угрожая,
Свои вздымает острия.

Но оттого ли, что так мирно
Сияет небо, он—как крик?
Под небом, мудростью надмирной,
Он суетливо так велик.

Вы, башни! В высоте орлиной
Мятежным духом взнесены,
Как мысли вы, когда единой
Они не объединены!

И вот другой собор... Был смуглый
Закат, и желтоват и ал,
Когда впервые очерк круглый
Мне куполов твоих предстал.

Как упоительно неярко
На плавном небе, плавный, ты,
Блеснул мне, благостный Сан-Марко,
Подъемля тонкие кресты!

Ложился, как налет загара,
На мрамор твой—закатный свет...
Мне думалось: какою чарой
Одушевлен ты и согрет?

Что есть в тебе, что инокиней
Готова я пред Богом пасть?
—Господней воли плавность линий
Святую знаменует власть.

Пять куполов твоих—как волны...
Их плавной силой поднята,
Душа моя, как кубок полный,
До края Богом налита.

София Парнок.

СОБОР СВЯТОГО МАРКА.

Царьградских солнц замкнув в себе лучи,
Ты на порфирах темных и агатах
Стоишь, согбен, как патриарх в богатых
И тяжких ризах кованой парчи,

В деснице три и в левой две свечи
Подъемлющий во свещниках рогатых,—
Меж тем как на галерах и фрегатах
Сокровищниц початки и ключи

В дарохранительный ковчежец Божий
Вселенная несет, служа жезлам
Фригийскою скуфьей венчанных дожей,

По изумрудным Адрии валам;
И роза Византии червленеет,
Где с книгой лев крылатый каменеет.

Вячеслав Иванов.

NOTRE DAME.

Где римский судия судил чужой народ —
Стоит базилика—и, радостный и первый,
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план!
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом — дуб и всюду царь—отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра, —
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам.

О. Мандельштам.

РУАНСКИЙ СОБОР.

Н о ч ь.

Вечер за днем беспокойным.
Город, как уголь, зардел,
Веет прерывистым, знойным,
Рдяным дыханием тел.

Плавны, как пение хора,
Прочь от земли и огней
Высятся дуги собора
К светлым пространствам ночей.

В тверди сияюще-синей,
В звездной алмазной пыли,
Нити стремительных линий
Серые сети сплели.

В горний простор без усилья
Взвились громады камней...
Птичьи упругие крылья—
Крылья у старых церквей!

Вечерние стекла.

Гаснет день. В соборе все поблекло.
Дымный камень лиловат и сер.
И цветами отцветают стекла
В глубине готических пещер.

Темным светом вытканные ткани,
Страстных душ венчальная фата,
В них рубин вина, возникший в Кане,
Алость роз, расцветших у креста,

Хризолит осенний и пьянящий,
Мед полудней—царственный янтарь,
Аметист—молитвенный алтарь,
И сапфир испуганный и зрящий.

В них горит вечерний океан,
В них призыв далекого набата,
В них глухой, торжественный орган,
В них душа стоцветная распята.

Тем, чей путь торжественно-суров,
Чья душа тоскою осиянна,
Вы—цветы осенних вечеров,
Поздних зорь далекая Осанна.

Максимилиан Волошин.

СТРАСБУРГСКИЙ СОБОР.

Когда случалось, очень часто,
Мне проходить перед тобой,
С одною башнею стоял ты—
Полуоконченный, хромой!

Днем, как по книге, по тебе я
О давнем времени читал;
Безмолвный мир твоих фигурок
Собою текст изображал.

Днем в отворявшиеся двери
Народ входил и выходил;
Обедня шла и ты органом
Как бы из груди голосил.

Все это двигалось и жило,
И даже ряд надгробных плит,
Казалось мне, со стен отвесных
В латинских текстах говорит.

А ночью—двери закрывались,
Фигурки гибли с темнотой,
С одною башнею стоял ты—
Отвсюду запертый, немой!

И башня, как огромный палец
На титанической руке,
Писала что-то в небе темном
На незнакомом языке!

Не башня двигалась, но—тучи...
И небо, на оси вертясь,
Принявши буквы, уносило
Их неразгаданную связь...

К. Случевский.

К СОБОРУ КЭМПЕРА.

Я был разорван мукой страстной,
Язвим извилистой тоской,
Когда безмерный, но безгласный,
Во тьме ты вырос предо мной.

Созданье канувших столетий!
Вонзая в небо две иглы,
Ты встал при тихом, звездном свете,
Как властелин надземной мглы.

Моим мечтам, всегда тревожным,
Моей бессильной воле—ты
Сказал без слов о невозможном
Слияньи силы и мечты!

Меня сдавил ты, неотступный,
Всей тяжестью былых времен,
И был я, жалкий и преступный,
Твоим величьем обличен.

И вот—бродяга безымянный
На темной площади поник
Перед тобой, старик венчанный,
Как пред Изидой ученик.

Валерий Брюсов.

СИЕНСКИЙ СОБОР *).

Когда страшишься смерти скорой,
Когда твои неярки дни,—
К плитам Сиенского собора
Свой натруженный взор склони.

Скажи, где место вечной ночи?
Вот здесь—Сивиллины уста
В безумном трепете пророчат
О воскресении Христа.

Свершай свое земное дело,
Довольный возрастом своим.
Здесь под резцом оцепенело
Все то, над чем мы ворожим.

Вот—мальчик над цветком и с птицей,
Вот—муж с пергаментом в руках,
Вот—дряхлый старец над гробницей
Склоняется на двух клюках.

Молчи, душа. Не мучь, не трогай,
Не понуждай и не зови:
Когда-нибудь придет он, строгий,
Кристально-ясный час любви.

Александр Блок.



В КУМИРНЕ.

Под деревом, подобием дракона,
Раскрывшим пастью древнее дупло,
Смотрю, как в тьму сползает с небосклона
Туч, черных змей несметное число.

---

*) Мраморный пол собора покрыт многими изображениями (т. н. „graffiti"), среди прочих—возрасты человека и девять Сивилл, у одной из которых—Кумской—волосы распущены по плечам, лицо напоминает трагическую маску, и вся фигура—стремление. Прим. автора.

Китайская кумирня дремлет сонно,
В ней все травою сорной поросло—
Чудовища, изваянное зло,
Крыш завитки и надписи закона.

Молчит Миао, злобный бог войны,
Кумиры спят, недвижны и велики...
Свирепы их раскрашенные лики.

Ужель проснутся боги старины?
Чу! гонг звучит и, ужаса полны,
Хрипящие во тьме раздались крики.

Владимир Шуф.

БЕЙТАСЫ.

Среди холмов, святыня Лаояна,
Причудливой исполнена красы,
Восходит в небо башня Бейтасы.
В кумирне там три медных истукана.

Над башнею бегут века, часы,
Судеб войны склоняются весы,
Она одна безмолвна, постоянна
Среди шатров раскинутого стана.

Корейцами воздвигнута в стране,
Она времен не ведает границы.
Чешуйки крыш в зеленой седине.

Над нею всходит месяц желтолицый,
Да ветер лишь, да крылья быстрой птицы
Звонки ее колеблют в вышине.

Владимир Шуф.

МЕЧЕТЬ ОМАРА.

Ты видел ли в полдневном, знойном блеске
Под черным куполом великий храм,
Где изразцов синеют арабески,
Где разбросал сокровища Ислам?

Во мгле цветной лучи рубинов резки,
Склонились в прах чалмы, тюрбаны, фески...
Туда хаджи идут к святым местам,
Каабы тень, скалу лобзая там.

Там я сошел в темницы Соломона,
Где скован джин и глубина бездонна.
Ряд ступеней в холм Мориа ведет.

Пещеры там лежат под сводом свод,
И подперта колонною колонна...
Там дверь в Джейнем, там в ад отверстый вход.

Владимир Шуф.

САМАРКАНД.

В раздробленных цепях бирюзово-сапфирной эмали,—
Полубред голубой!—встали башни твои предо мной.
Ты, как древле, велик! Пусть твердыни твои разрушали
Мерной сменой—века, быстросменные люди—войной.

На земле нету места грозней твоего Регистана!
На земле нету места его голубей и нежней!
Возле синих преддверий читают стихи из Корана,
Винограды лежат под копытами мирных коней.

Как священные арки сияют и тихо и яро,
Чистым золотом звезд и извивами мудрыми слов!
Полустертые львы золотятся над входом Ширь-Дара,
Улук-Бек завернулась в павлиний узор изразцов.

Там над городом Биби-Ханым наклонила руины.
О, царица мечетей, ты скоро поникнешь в пыли!
На громадах твоих вижу трещин широких морщины —
Начертанье неспешное круговращений земли;

Но толпа весела у твоих изнуренных подножий,
Возле каменных тлений растут, розовея, цветы,
И халаты шуршат, и кувшин покупает прохожий,
И верблюды идут, и скрипят на ослах хомуты.

А на взгорьях Шах-Зинда укрыла в лазурной оправе
И надгробия ханш и владык забываемых дол.
Кто здесь вспомнит о том, кто вознес невозможные яви,
Кто виденья Эдема на бренную землю низвел?

Помню сумерки я. Небо было лилово и хмуро.
И на склонах пустынных устало прилег караван...
Полумесяц взошел и застыл над гробницей Тимура,
Над хранителем призрачным дремой окованных стран.

К. Липскеров.

ДОМ НА БОСФОРЕ.

Зеленый сад, фонтан и розы;
Над зеркалом воды прохлады полный дом;
С навеса вьющиеся лозы;
Стена заветная кругом
(Приют домашних тайн), а в стороне кладбище;
Ряд кипарисов, минарет:
Вот очерк твой, восточное жилище!
Восток! вот милый твой привет!

. . . .

В. Туманский.

RAVELLO. PALAZZO RUFOLO.

Ou l'indecis au precis se joint.
Verlaine.

Я шел под узловатыми ветвями винограда,
Средь белых и пунцовых роз,
В зиявший мраком вход, где пряталась прохлада,
И мхом порог зарос.

Там, в сумерках, шепталися подсводчатые звуки...
Я шел, и слушал, и глядел,
За кольца открывал с трудом куда-то люки
И мрак тогда гудел.

И нежась засыревшею, подвальною прохладой,
Любуясь круглым потолком,
Вдруг вышел в cortile с арабской колоннадой,
Увитый весь плющем!

Был двор великолепнейшим и кружевным колодцем,
Где прыгали, смеясь, лучи...
А я стоял во тьме, под портиком с уродцем,
Поднявшим вверх мечи.

Легчайшие, ажурные, арабские колонки
И небо, небо, синева...
И плиты были там таинственны и звонки,
Как новые слова...

А. Лозина-Лозинский.

ROCOCO GAI.

Когда душе изнеможенной
родное небо далеко,
и дух мятется осужденный,
лишь ты прекрасен изощренный
капризно-недоговоренный,
безумно-странный Rococo.

Ты вдруг кидаешь на колонну
гирлянд массивных цепь... и вот
она, бежавшая к балкону,
свою надменную корону
склоняет ниц, к земному лону,
потешной карлицей встает.

Ты затаил в себе обиды
от повседневности тупой,
твой взор пресыщенно-слепой
живят чудовищные виды,
и вот твои кариатиды
растут, как башни, над толпой.

Твои кокетливые змеи,
твои скульптурные цветы,
твои орнаменты, трофеи,
скачки, гримасы и затеи
отверженным всего милее,
как бред изломанной мечты.

Лишь ты, небрежный и свободный
в своих обманах мудро-прав,
загадочен, как мир подводный
с его переплетеньем трав;
мятеж с условностью холодной
невозмутимо сочетав,

лишь ты всевидящий провидишь
в затейливости—забытье,
ты цель лишь в сочетаньи видишь,
равно увенчиваешь все,
и все, венчая, ненавидишь,
влача проклятие свое.

Лишь ты, коварный, вечно разный
все очертанья извратил;

неутомимый, неотвязный,
изысканный и безобразный,
в один узор винтообразный
ты все узоры закрутил.

Лишь ты, своим бессильем сильный,
ты, с прихотливостью герба,
в бесстильности капризно-стильный,
с твоей гримасою умильной,
мне дорог, как цветок могильный,
приосенивший все гроба.

Лишь ты цветешь, не умирая,
не знаешь слез, всегда грустя,
скелет в гирлянды убирая,
ты души, что лишились Рая,
научишь изменять, шутя,
научишь умирать, играя!

Эллис.



СОФИЯ.

(Из цикла „Новгород“.)

Недвижна древняя стена
Упорно девственной Софии,
Пять куполов на рамена
Свои воздвигнула она
По воле вечевой стихии.

И вся бела. Как снег чиста.
Лишь над Корсунскими вратами
Спокойный Спас сомкнул уста—
Чернеют выпукло врата
И ангелами, и зверями.

Кругом горели города,
И дым несчастий подымался.
Но, величава и горда,
София стала навсегда:
Народ с ней тайно побратался.

Сергей Городецкий.

* * *

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся высокие, дугой.
И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.
Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница,—
Успенье нежное, Флоренция в Москве!
И пятиглавые московские соборы,
С их итальянскою и русскою душой,
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

О. Мандельштам.

СУХАРЕВА БАШНЯ.

Что за чудная право—эта зеленая башня!
Высока и тонка; а под ней, как подножье, огромный
Дом в три жилья, и примкнулось к нему, на откосе, под крышей,
Длинное с боку крыльцо, как у птицы крыло на отлете,
Кажется, им вот сейчас и взмахнет!—Да нет! тяжеленька!

Сухарев строил ту башню, полковник стрелецкий!—Во время
Бунта стрельцов на юных царей Петра с Иоанном
Верен с своим он полком двум братьям царям оставался.
Именем верного, в память ему, Петр и прозвал ту башню;
Старая подпись о том возвещает доныне потомству.

Старый народ, как младенец, любит чудесные сказки!
Тут, говорят старики, жил колдун чернокнижник; доныне
Целы все черные книги его; но закладены в стену!
Добрые люди, не верьте!—Тут прадеды ваши учились,
Как по морскому пути громоносные править громады!

Тот же народ простодушный любит веселую шутку!
Есть у него поговорка, что будто Иван наш Великий
Хочет жениться, и, слышно, берет за себя он ту башню!
Дети в народе простом, не привыкши умом иноземным
Острые шутки ловить, не натешатся выдумкой этой!

Ныне, когда о народной нужде помышляет наука,
В этой башне у нас водоем, как озеро в рамах!
Чистой воды, как хрусталь, бьют ключи, заключенные в трубы
Их издалека ведет под землею рука человека,
Литься заставя на пользу, скакать в высоту на потеху!

М. Дмитриев.

ПАРК.

Вот он, наш город в зеленом саду!—По широким аллеям
Вычурных, светлых, красивых домов живописные группы;
Двери стеклянные настежь; пред ними террасы с цветами;
Ходят, сидят на балконах довольные, ясные лица;
Бегают дети вокруг; что за мир простоты и свободы!
Это Петровской наш парк и веселые летние дачи!

. . . .

Весело смотрит на них наш Петровской готический замок.
Круглые башни, витые трубы, остросводные окна,
Белого камня резные столбы, темно-красные стены!
В темной, густой и широкой зелени сосен старинных
Весел и важен он дед между внучат младых и веселых!

М. Дмитриев.

АДМИРАЛТЕЙСТВО

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь,
Сияет издали—воде и небу брат.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота—не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек:
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря,—
И вот разорваны трех измерений узы,
И открываются всемирные моря!

О. Мандельштам.

* * *

На площадь выбежав, свободен
Стал колоннады полукруг—
И распластался храм Господень,
Как легкий крестовик-паук.

А зодчий не был итальянец,
Но русский в Риме; ну так что ж!
Ты каждый раз, как иностранец,
Сквозь рощу портика идешь;

А храма маленькое тело
Одушевленнее стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле, беспомощный, прижат!

О. Мандельштам.

* * *

Возможет ли Поэзии резец
Изобразить Елагинский дворец,
Когда он, месяца лучами освещенный,
В кристалл Невы глядится голубой,
Любуется собой?
Решеткой легкою, как блондой, окруженный,
Вокруг дворца прелестный виден сад,
Где ветерок разносит аромат,
Над рядом цветников порхая;
Где извилась дорожка золотая
По изумрудной мураве.
Здесь лестница спускается к Неве;
Там яхта, золотом блистая,
Гордится флагом: два крыла
Чернеются на нем двуглавого орла.

К. Масальский.

КАРИАТИДЫ.

Между окон высокого дома,
С выраженьем тоски и обиды,
Стерегут парчевые хоромы
Ожерельем кругом карьятиды.

Напряглись их могучие руки,
К ним на плечи оперлись колонны;
В лицах их—выражение муки,
В грудях их—поглощенные стоны.
Но не гнутся те крепкие груди,
Карьятиды позор свой выносят;
И—людьми сотворенные люди—
Никого ни о чем не попросят...
Идут годы—тяжелые годы,
Та же тяжесть им давит на плечи;
Но не шлют они дерзкие речи
И не вторят речам непогоды.
Пропечет ли жар солнца их кости,
Проберет ли их осень ветрами,
Иль мороз назовется к ним в гости
И посыплет их плечи снегами,
Одинаково твердо и смело
Карьятиды позор свой выносят
И—вступиться за правое дело
Никого никогда не попросят...

К. Случевский.

ДОМИКИ СТАРОЙ МОСКВЫ.

Слава прабабушек томных,
Домики старой Москвы,
Из переулочков скромных
Все исчезаете вы,

Точно дворцы ледяные
По мановенью жезла.
Где потолки росписные,
До потолков зеркала?

Где клавесина аккорды,
Темные шторы в цветах,
Великолепные морды
На вековых воротах.

Кудри, склоненные к пяльцам,
Взгляды портретов в упор...
Странно постукивать пальцем
О деревянный забор!

Домики с знаком породы,
С видом ее сторожей,
Вас заменили уроды,—
Грузные, в шесть этажей.

Домовладельцы—их право!
И погибаете вы,
Томных прабабушек слава,
Домики старой Москвы.

Марина Цветаева.





СКУЛЬПТУРА

БОГИНИ.

Их было две по сторонам балкона,
Отрытые из древнего кургана,
Две бабы каменных, широкоскулых
И с плоским носом—две огромных глыбы,
Запечатлевших скифский вещий дух.
И милый дом, восставшие от праха,
Вы сторожили, мощные богини,
С улыбкой простоватой и жестокой
На треснувших, обветренных губах...

Одна была постарше, с вислой грудью.
Ее черты казались стерты влагой:
Быть может, сам великий, синий Днепр
Ее терзал в порыве покаянном,—
Владычицу греховную зачатий,—
И мчал к морям, с порога на порог.
Другая, юная, еще хранила облик
Девический; граненых ожерелий
Тройная нить ей обнимала шею,
Округлую и тяжкую, как столп.
О, серый камень, как томил ты дивно
Ваятеля,—как мучил он тебя,
Чтобы мечту пылающих ночей
Привлечь к твоим шероховатым граням!
. . . .

Валериан Бородаевский.

СФИНКС.

В часы полночных дум не раз мне тихо снилась
страна седых жрецов, пустынная для нас.
К тебе, безмолвный Сфинкс, к тебе я шел не раз
и праху твоему во сне душа молилась.

Какой волшебный рок тебя от тленья спас?
Чья мудрость вещая в твой образ воплотилась?
Чья царственная мысль навек обожествилась
во взоре каменном твоих незрячих глаз?

Как призрак древних солнц, хранимый небесами,
один остался ты над мертвыми песками...
У ног твоих журчит земных времен река.

Ты смотришь на нее исполненный гордыни;
и отражаются, как марева пустыни,
в пучинах прошлого грядущие века.

Сергей Маковский.

СФИНКСЫ НАД НЕВОЙ.

Волшба ли ночи белой приманила
Вас маревом в полон полярных див,
Два зверя-дива из стовратных Фив?
Вас бледная ль Изида полонила?

Какая тайна вам окаменила
Жестоких уст смеющийся извив?
Полночных волн немеркнущий разлив
Вам радостней ли звезд святого Нила?

Так в час, когда томят нас две зари
И шепчутся лучами, дея чары,
И в небесах меняют янтари,—

Как два серпа, подъемля две тиары,
Друг другу в очи—девы иль цари—
Глядите вы, улыбчивы и яры.

Вячеслав Иванов.

БАРЕЛЬЕФ.

Пока на льва Сарданапал
С копьем в руках и рдяным оком,
Напрягши мышцы, наступал,
И зверь кидался и стонал
И падал, пораженный роком,—

В опочивальне смутных грез
Царица тихо распускала,
Как знамя грусти, траур кос,
И чаши увлажненных роз
К грудям пылающим склоняла...

Далекий рев! Предсмертный рев!
И плеск, и буйственные клики...
Но неподвижен и суров,
Подъят над спинами рабов
Чернобородый лик владыки.

Внесли... Поникши головой,
Склонись, поздравь царя с победой,
Да примет кубок золотой,—
И пурпур губ его отведай,
Закрывшись бледною фатой.

Валериан Бородаевский.

ХЕРУВИМЫ.

I.

Херувимы Ассирии, быки крылатые,
Бородатые,
Возникают из пыли веков.
Железо лопаты, как резец ваятеля,

Чародателя,
Возрождает забвенных богов.
Херувимы крылатые—камень пытания
Высшего знания,—
Из пыли веков
Двинулись ратью на новых богов.

II.

Вашу правду несете вы, пращуры древние,
Херувимы Ассирии,
Ответ человека на пламенный зов Божества.
Был час—и на камне
Почила Рука и руку искала:
Вы—встреча двух дланей,
Вы—их пожатье.
Привет вам, быки круторогие,
С лицом человечески-хмурым грядите!

Валериан Бородаевский.

СВЯТИЛИЩЕ.

(Из цикла «Цейлон».)

Сверкала Ступа снежной белизною
Меж тонких и нагих кокосовых стволов.
И Храмовое Дерево от зною
Молочный цвет роняло надо мною
На древний камень жертвенных столов.

Под черепицей низкая вихара
Таила Господа в святилище своем,
И я вошел в час солнечного жара
В его приют, принес ему два дара—
Цветы и рис—и посветил огнем:

Покоился он в сумраке пахучем,
Расписан золотом и лаками, пленен
Полдневным сном, блаженным и тягучим,

К его плечам, округлым и могучим,
Вдоль по груди всползал хамелеон:

Горел, как ярь, сощурив глаз кошачий,
Дул горло желтое и плетью опустил
Эмаль хвоста, а лапы раскорячил;
Зубчатый гребень, огненно-горячий,
Был ярче и острее адских пил.

И адскими картинами блистала
Вся задняя стена,—на страх душе земной,
И сушью раскаленного металла
Вихара полутемная дышала—
И вышел я на вольный свет и зной.

И снова сел в двуколку с сингалесом,
И голый сингалес, коричневый Адам,
Погнал бычка под веерным навесом
Высоких пальм,—сквозным и жарким лесом,
К священным водоемам и прудам.

Ив. Бунин.

БОГИНЯ.

Навес кумирни, жертвенник в жасмине—
И девственниц склоненных белый ряд.
Тростинки благовонные чадят
Перед хрустальной статуей Богини,
Потупившей свой узкий, козий взгляд.

Лес, утро, зной. То зелень изумруда,
То хризолиты светят в хрустале.
На кованом из золота столе
Сидит она, спокойная, как Будда,
Пречистая в раю и на земле.

И взгляд ее, загадочный и зыбкий,
Мерцает все бесстрастней и мертвей
Из-под косых приподнятых бровей,
И тонкою недоброю улыбкой
Чуть озарен блестящий лик у ней.

Ив. Бунин.

ЗОЛОТОГУБЫЙ ДИОНИС.

Не видя неба голубого
И радостных родных светил,
В пределах Скифии суровой
Зеленой бронзой ты застыл.

И вот нагой, в густой короне
Плюща, ты высишься, пришлец,
В холодном, хмуром Пантеоне,
Где в окнах небо, как свинец.

В твоих перстах подъята чаша,
Та чаша пирная пуста,
Но от усмешки словно краше
Позолоченные уста.

И мнится, встретя взор блестящий
Цветных, эмалевых зрачков,
Что ты коварный демон, мстящий
За бремя бронзовых оков.

Владимир Эльснер.

СОСТЯЗАНИЕ.

Таким, как некогда бежал перед толпой
На играх греческих, при криках восхищенья,—
Лидас бежит теперь быстрее дуновенья
И топчет цоколь свой чеканною стопой.

Рука напряжена, застыл пытливый взор;
Струится медный пот, мелькает бег проворно...
И, кажется, атлет живым сбежал из горна,
Когда он плавился и ждал его скульптор.

Дрожит, трепещет грудь в огне соревнованья,
Ей мало воздуха для жаркого дыханья,
Все мускулы живут усилием стальным.

Его влечет порыв борьбы неудержимой
И вихрем он летит над цоколем своим
Туда, за славою, за пальмою любимой!

Эредиа.

ФАВН ПРАКСИТЕЛЯ.

С наивною лукавостью улыбки,
С припухлыми манящими устами,
Глядит на нас веселыми глазами
Прекрасный бог, стан запрокинув гибкий...

И чудится, что зноен воздух зыбкий,
Что блещет лавр зелеными листами,
И бога юного холодными перстами
Еще не тронули ни скорби, ни ошибки.

Таким его изобразил Пракситель.
. . . .

Б. Бер.

ТИТАНЫ.

(К мраморам Пергамского жертвенника.)

Обида! Обида!
Мы—первые боги,
Мы—древние дети
Праматери-Геи,

Великой земли!
Изменою братьев,
Богов Олимпийцев,
Низринуты в Тартар,
Отвыкли от солнца,
Оглохли, ослепли
Во мраке подземном,
Но все еще помним
И любим лазурь.
Обуглены крылья,
И ног змеевидных
Раздавлены кольца,
Тройными цепями
Обвиты тела,—
Но все еще дышим,
И наше дыханье
Колеблет громаду
Дымящейся Этны,
И землю, и небо,
И храмы богов.
А боги смеются,
Высоко над нами,
И люди страдают,
И время летит.

Но здесь мы не дремлем:
Мы мщенье готовим,
И землю копаем,
И гложем, и роем
Когтями, зубами,
И нет нам покоя,
И смерти нам нет.

Источим, пророем
Глубокие корни
Хребтов неподвижных
И вырвемся к солнцу,—
И боги воскликнут,

Бледнея, как воры:
«Титаны! Титаны!»
И выронят кубки,
И будет ужасней
Громов Олимпийских,
И земли разрушит
И небо—наш смех!

Д. Мережковский.

Самофракийская победа.

В час моего ночного бреда
Ты возникаешь пред глазами—
Самофракийская Победа
С простертыми вперед руками.

Спугнув безмолвие ночное,
Рождает головокруженье
Твое крылатое, слепое,
Неудержимое стремленье.

В твоем безумно-светлом взгляде
Смеется что-то, пламенея,
И наши тени мчатся сзади,
Поспеть за нами не умея.

Н. Гумилев.

Аполлон Бельведерский.

Вот он—владыка неизбежных стрел,
Вот жизни бог, бог дня и песнопенья!
Я солнце воплощенное узрел;
Торжественный, он вышел из сраженья,
Слетело с лука неземное мщенье,

И светлые глаза его блестят,
И ноздри дышат гордостью презренья;
Стоит могуч, величествен и свят,
И бога проявил его единый взгляд.

И если же похитил Прометей
Огонь небес, горящий в нас душою,
Тем выплачен тот долг, кем мрамор сей
Был славою увенчан вековою;
Хоть и земной воссоздан он рукою,
Но мыслью неземной,— и власть времен
Благоговела пред его красою,
И невредим доселе дышит он
Тем пламенем святым, которым сотворен.

Байрон.

АПОЛЛОН БЕЛЬВЕДЕРСКИЙ.

Упрямый лук с прицела чуть склонен,
Еще дрожит за тетивою шаткой,
И не успел закинутый хитон
Пошевелить нетронутою складкой.

Уже, томим язвительной стрелой,
Крылатый враг в крови изнемогает
И черный хвост, сверкая мешуей,
Свивается и тихо замирает.

Стреле вослед легко наклонено
Омытое в струях Кастальских тело:
Оно сквозит и светится—оно
Веселием триумфа просветлело.

Твой юный лик торжествен и могуч,—
Он весь в огне, живительном и резком:
Так солнца диск, прорезав сумрак туч,
Слепит глаза невыносимым блеском.

А. Фет.

ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ.

И целомудренно, и смело
До чресл сияя наготой,
Цветет божественное тело
Неувядающей красой.

Под этой сенью прихотливой
Слегка приподнятых волос
Так много неги горделивой
В небесном лике разлилось!

Так, вся дыша пафосской страстью,
Вся млея пеною морской
И всепобедной вея властью,
Ты смотришь в вечность пред собой.

А. Фет.

ВЕНЕРЕ МИЛОССКОЙ.

От этих людных зал к старинной мастерской
Назад, во тьму времен, лежит воображенье...
Художник там стоит в надменном упоеньи,
Резец свой уронив, богиня, пред тобой.
Не нужен боле он: заключено рукой
В оковы стройных форм бесплотное виденье,
И в сердце,—где, как вихрь, носилось вдохновенье,—
Привольно ширится восторженный покой.

Но, глядя на тебя, тот гений величавый,
Чье имя злобный рок жестоко скрыл от славы,
О, все ли счастие свое он сознавал?
Шептало ли ему пророческое чувство,
Что навсегда тобой он победил искусство,
Тобой, о, красоты безгрешный идеал?

Гр. П. Бутурлин.

У ВЕНЕРЫ МИЛОССКОЙ.

Плюш диванов, говор иностранный,
Холод стен и мутный день в окно,
Греческой богине осиянной,
Верно, неуютно и темно.

Голову откинув на потертый
Бархат, Гейне, старый и больной,
Здесь сидел и плакал распростертый
Пред твоею ясной белизной.

О грехах он плакал пред тобою,
И о том, что стар он и без сил,
Что не встал меж ним и меж судьбою
Образ твой, его не защитил.

И другой пришелец издалека,
Из страны, чья участь тяжела,
Здесь светло молился, но от рока
Красота безумца не спасла.

Иль она не Правда и не Разум!
Почему ж так страшно часто тех,
Кто служил ей творческим экстазом,
Сторожат безумие и грех?

Так я думал—проходили люди..
Англичане, гиды без числа.
Позабывших о великом чуде
Красота безумцев не спасла!

А. Marie.

К ВЕНЕРЕ МЕДИЦЕЙСКОЙ.

Богиня красоты, любви и наслажденья!
Давно минувших дней, другого поколенья
Пленительный завет!
Эллады пламенной любимое созданье,
Какою негою, каким очарованьем
Твой светлый миг одет.

Не наше чадо ты! Нет, пылким детям Юга
Одним дано испить любовного недуга
Палящее вино!
Созданьем выразить душе родное чувство
В прекрасной полноте изящного искусства
Судьбою им дано!

Но нам их бурный жар и чужд, и непонятен;
Язык любви, страстей нам более не внятен;
Душой увяли мы.
Они ж, беспечные, три цели знали в жизни:
Пленялись славою, на смерть шли за отчизну,
Все забывали для любви.

В роскошной Греции, оливами покрытой,
Где небо так светло, там только, Афродита,
Явиться ты могла,
Где так роскошно Кипр покоится на волнах,
И где таким огнем Гречанок стройных полны
Восточные глаза!

И. Тургенев.

ПЕРЕД СТАТУЕЙ ВЕНЕРЫ ТАВРИЧЕСКОЙ.

Ты когда-то жила меж людей,
И заснула ты мраморным сном;
С красотой безотцветной твоей
Разрушительный Крон незнаком...
И невластно во-век над тобой
Безобразие дряхлых седин;
Тебе жизнь мелочною борьбой
На чело не нагонит морщин...
Не коснется тебя никогда
Сокрушающей смерти рука!..
Ты блаженна, что ты молода
И от наших скорбей далека...
И художник, в печали своей,
Когда сердцем болящим страдал
Над нестройною жизнью людей,
Твой чарующий лик изваял,
И он верил: придут времена—
Все, что в духе бесплотно живет,
Будто грезы роскошного сна,
В повседневную жизнь перейдет...

Да над этою мыслью его
Замолчит и прервется мой стих:
Это свет бытия моего,
Это перлы желаний моих!

Н. Щербина.

ПЕРЕД ТАВРИЧЕСКОЙ АФРОДИТОЙ.

В Эрмитаже.

Средь рощи миртовой сверкал твой белый храм,
Под солнцем Греции в давно былые годы,
И жрицы пели в нем торжественные оды,
И обвивал тебя лазурный фимиам.

Развеян прах его по долам и горам!
Сереют над тобой теперь иные своды,
И в тусклом воздухе, увы! иной природы
Зеваки на тебя глазеют по утрам.
Пусть так! и пусть прогресс, упавших не жалея,
Считает в наши дни лишь нумером музея,
Прекрасная, тебя!—Богиня вечно ты!
Олимпа не спасла поэзия Эллады,
Не спас и Парфенон твоей сестры, Паллады...
Но сердце каждое—алтарь для красоты!

Гр. П. Бутурлин.

К ИСТУКАНУ НИОВЫ.

(Неизвестный.)

Боги живую меня превратили в бесчувственный камень:
Камню и чувство, и жизнь дал Праксителя резец.

ИЗВАЯНИЕ АЛЕКСАНДРА.

(Архелай.)

Царственный лик Александра, решителя браней кровавых,
Лисиппом здесь изваян: дышит в металле герой!
В небо он взоры вперил и Дию, мнится, вещает:
«Землю всю мне, о, Кронид! ты же Олимпом владей!»

Д. Дашков.

НАРЦИСС.

Помпейская бронза.

Кто ты, прекрасный? В лесах, как Сатир одинокий, ты бродишь,
Сам же не чадо дубрав: так благороден твой лик.

Прелесть движений пристойных, убра́нной обуви пышность—
Все говорит мне: ты—сын вышних иль смертных царей.

Чутко, свой шаг удержав, ты последовал тайному звуку
Стройным склоненьем главы, мерным движеньем перста:

Пана ли внял ты свирель, иль Эхо влюбленные стоны?
Говор ли резвых Наяд? шопот ли робких Дриад?

Праздную руку, едва оперев о бедро, прихотливо
Легким наплечным руном ты перевил, как Лиэй:

Дивный, не сам ли ты Вакх, лелеемый нимфами Низы,
Ловчий, ленивец нагой, нежных любимец богинь?

Или ты—гордый Нарцисс, упоенный мечтой одинокой,
В томном блуждающий сне, тайной гармонии полн?

К нимфе зовущей иди, ты доселе себя не познавший,
Но не гляди, наклонясь, в зеркало сонной волны!

Ах, если ты не Нарцисс, то свой лик отраженный увидев,
О незнакомец,—дрожу,—новый ты станешь Нарцисс.

Вячеслав Иванов.

* * *

Лицо печальное твое осеребрило
И день бессолнечный, и вечер темнокрылый,
И ночь безлунную. Сиянием клинка
Мерцает римлянки прелестная тоска,
И лебединые волнующие складки
На шее мраморной—торжественны и сладки.
(На копенгагенский бюст Агриппины Старшей.)

Гр. Василий Комаровский.

НЕРОН.

Есть в Ватикане бюст из черного порфира;
Как что-то близкое мой взор всегда он влек.
Я в нем узнал тебя, о Цезарь, полу-бог,
Всесильный Властелин языческого мира.

На гордой голове—оливковый венок;
В чертах—спокойное величие кумира;
Чуть щурятся глаза усмешкою Сатира
И дышат в складках губ злодейство и порок.

Влюбленный в Красоту артист и император—
Нерон, чрез ряд веков я шлю тебе привет
И «Ave» в честь твою кричу, как гладиатор.

Чудовищностью Зла ты ужаснул весь свет.
Но Красотой его пленил мою мечту...
Наш век умножил Зло и распял Красоту.

Александр Ротштейн.

ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ВАТИКАНСКОГО МУЗЕЯ

Еще я слышу вопль и рев Лаокоона,
В ушах звенит стрела из лука Аполлона,
И лучезарный сам, с дрожащей тетивой,
Восторгом дышащий, сияет предо мной...
Я видел их: в земле отрытые антики,
В чертогах дорогих воздвигнутые лики
Мифических богов и доблестных людей:
Олимпа грозного властителей священных,
Весталок девственных, Вакханок исступленных,
Брадатых риторов и консульских мужей,
Толпе вещающих с простертыми руками...

Еще в младенчестве любил блуждать мой взгляд
По пыльным мраморам потемкинских палат.
Там, в зале царственном, меж пышными столбами,
Увитыми кругом сребристыми листами,
Как часто я стоял и с думой, и без дум,
И с строгой красотой дружил свой юный ум.
Антики пыльные живыми мне казались
Как будто бы и мысль, и чувство в них скрывались...
Забытые в глуши блистательным двором,
Казалось, радостно с высоких пьедесталов
Они внимали шум шагов моих вдоль залов,
И, властвуя моим младенческим умом,
Они роднились с ним, как сказки умной няни,
В пластической красе мифических преданий...

Теперь, теперь я здесь, в отчизне светлой их,
Где боги меж людей, прияв их образ, жили,
И взору их свой лик бессмертный обнажили.
Как дальний пилигрим, среди святынь своих,
Средь статуй я стоял... Мне было дико, странно:
Как будто музыке безвестной я внимал,
Как будто чудный свет вокруг меня сиял.
Курился мирры дым и нард благоуханный,
И некто дивный был и говорил со мной...
С душой, подавленной восторженной тоской,
Глядел в смущеньи я на лики вековые,
Как скифы дикие, пришедшие с Днепра,
Средь блеска пурпура царьградского двора,
Пред благолепием маститой Византии,
Внимали музыке им чуждой литургии...

А. Майков.

ХИМЕРЫ.

Высоко на парижской Notre Dame
Красуются жестокие химеры.
Они умно уселись по местам.

В беспутстве соблюдая чувство меры,
И гнусность доведя до красоты,
Они могли бы нам являть примеры.

Лазурный фон небесной пустоты
Обогащен красою их несходства,
Господством в каждой—собственной черты.

Святых легко смешаешь, а уродство
Всегда фигурно, личность в нем видна,
В чем явное пороков превосходство.

Но общность между ними есть одна:
Как крючья вопросительного знака,
У всех химер изогнута спина.

Скептически произрастенья мрака,
Шпионски выжидательны они,
Как мародеры возле бивуака.

Не получив ответа искони,
И чуждые голубоглазья веры,
Сидят архитектурные слепни,—

Односторонне зрячие химеры,
Задумались над крышами домов,
Как на море уродливые шхеры.

Вкруг Церкви, этой высшей из основ,
Враждебным станом выстроились зданья,
Берлоги тьмы, уют распутных снов,—

И Церковь, осудивши те мечтанья
Сердец, обросших грубой тканью мха,
Развратный хаос в мире созиданья,—

Где дышит ядом каждая кроха,—
Воздвигла слепок мерзости звериной,
Зеркальный лик поклонников греха.

Но меж людей, быть может, я единый
В глубокий смысл чудовищ тех проник,
Всегда иное чуя за картиной.

Привет тебе отшедший мой двойник,
Создатель этих двойственных видений,
Я в стих влагаю твой скульптурный крик,

Привет вам, сонмы страшных заблуждений!
Ты —гений сводни, дух единорог,
Сподручник жадный ведьмовских радений.

Гермафродит, глядящий на порок,
Ты жабу давишь в пытке дум бессонных,
Весь мир ты развратил бы, если б мог.

Концы ушей, продленно-заостренных,
Стоят, как бы заслышавши вдали
Протяжный гул тобою соблазненных.

Колдуний новых жабы привели.
Но ты уж слышишь ропот осужденья,
Для вас костры свирепые зажгли.

И ты, заклятый враг деторожденья,
Колдунья с птицей, демоны-враги,
Препоны для простого наслажденья!

Твое лицо—зловещий лик Яги,
Нагие десны алчны и беззубы,
Твоя рука имеет вид ноги,—

Твои черты безжалостные грубы,
Застыли пряди каменных волос,
Не знали поцелуев эти губы,—

Не ведали глаза химеры слез,
И шерстью, точно сорною травою,
Твой хищный стан уродливо оброс.

Как вестник твой, крича, перед тобою
Стервятник омерзительный сидит,
Покрытый вместо перьев чешуею.

В его когтях какой-то зверь хрустит,
Но как ни гнусен вестник твой ужасный,
Ты более чудовищна на вид.

И оба вы судьбе своей подвластны,
Одна мечта на вас наводит лоск,
Единый гений, жесткий и бесстрастный.

Как сжат печатью вдавленною воск,
Так лоб у вас, наклонно убегая,
К убийству дух направил, сжавши мозг.

И ты еще, уродина другая,
Орангутанг и жалкий идиот,
Ты скорчился, в тоске изнемогая.

Убогий демон, выродок и скот,
Герой мечты безумного Эдгара,
Зачатой в этом мире в черный год.

В тебе инстинкт горел огнем пожара
И ты двух женщин подло умертвил,
Но в цвете крови странная есть чара.

Тебя нежданный ужас подавил,
И ты бежал на этот Дом Видений,
Беспомощный палач, лишенный сил.

Вы, дьяволы любовных наслаждений,
Как много в вас отверженной мечты.
Один, как ангел, с крыльями... О, гений!

Зачем в беспутном пире срамоты,
Для сладости обманчивого часа,
Принизился до мелких тварей ты!

Твое лицо—бесстыдная гримаса,
Ты нагло манишь, высунув язык,—
Усталых ласк приправа и прикраса.

Ты знаешь, как продлить тягучий миг,
Ты с холеными женскими руками,
Любовь умом обманывать привык.

Другой наглец, с кошачьими зрачками,
Над Городом Безумия склонясь,
Всем обликом хохочет над врагами.

Он гибок, сладострастен, и как раз
В объятьи на смерть с хохотом удавит,
Как змей вкруг тела нежного виясь.

Еще другой всего превыше ставит
Блаженство в щель чужую заглянуть,
Глядит, дрожит, и грязный рот слюнявит.

Еще, с лицом козла, ввалилась грудь,
Глаза глубоко всажены в орбиты,
Сумел он весь в распутстве потонуть.

Вы разны все и все вы стройно слиты,
Вы все незримой сетью сплетены,
Равно в семье единой имениты.

Но всех прекрасней в свите Сатаны,
Слияние ума и лицемерья,
Волшебный образ некоей жены.

Она венец и вместе с тем преддверье,
Карикатура ей изжитых дум,
Крылатый коршун, выщипавший перья.

Взамену чувств у ней остался ум,
Она ханжа в отшельнической рясе,
Иссохший монастырский толстосум.

Застывши в иронической гримасе,
Она как бы блюдет их всех кругом.
Ирония прилична в свинопасе.

И все они венчают Божий Дом!

К. Бальмонт.

ХИМЕРЫ СОБОРА
NOTRE DAME DE PARIS.

I.

Философ, мысливший, что тайна
Висит над нашим бытием,
Иль непосредственно, случайно,
Поэт в безумии своем,
Иль дикий мистик, полный веры
В средневековых чудищ зла,
Взвел кто-то страшные химеры
Под небо и колокола.
В своей одежде длиннополой
Творец исчез в былых годах,
Гуляка, может быть, веселый,
Быть может, сумрачный монах,
Забыт людьми, неведом, силен,
Томимый роем странных снов,
Средь улиц спутанных извилин,
Во тьме готических домов;
Но до сих пор его творенья,
Проклятья каменные, в ряд
Над градом вечного движенья
На храме чуждые сидят.
Их лица странны. Любопытны,
Удивлены, как у детей,
Иль равнодушны, мертвы, скрытны,
С печалью каменных очей...

Иль с хищной радостностью силы,
Глядят химеры злобно вниз,
Упершись лапами в перила
И перегнувшись за карниз.

II. III.

. . . .

IV.

Да, кто они? Я, сын усталых,
Сын злых сомнений, снов и мук,
Я выраженье угадал их
И обнял их, как брат и друг.
Рука ваятеля хотела
Создать дух зла... Но в те года
Считались злом желанья тела
И дух боролся с ним тогда.
Тот дух, что ведал мних безвестный,
Крестом на плитах лежа ниц,
Что после в готике небесной
Дал неуклонность, высь и шпиц.
Страстей людских обожествленья,
Рой гномов, фавнов и дриад,
Обезобразило стремленье
Творцов готических громад.

Не жил монах—он лишь молился,
Он не любил—он лишь страдал,
И фавн в химеру превратился,
В начало дьявольских начал.
И, побежденный новым богом,
Забытый бог, великий Пан,
На храме каменном и строгом
Согнул зверино-гордый стан.

Но жив бог Пан, дух первобытной,
Звериной истины лесов!
Он шелестит повсюду, скрытный,
Граненый ложью городов.
Он лицемерьем искалечен,
Греховен в мыслях и делах,
Но в душах всех един и вечен
На самых властных глубинах.
И в храме сердца, рядом с верой,
С познаньем, истиной, добром,
Веселый фавн наш стал химерой,
Проклятьем нашим и ярмом.
Да, потому химеры гадки
И потому они близки:
То наших помыслов загадки,
Всей нашей жизни и тоски.
Изумлены они, лесные,
Ненужной ложью наших дней,
Но все же их улыбки злые
Горды победою своей.
Они повсюду торжествуют—
Над храмом, мыслью и толпой,
Но, как и мы, они тоскуют
По дебри шепчущей лесной.
Прикован к лжи и камням зданий,
Я рвусь, как вы, химеры, в глушь,
Я в вас влюблен, как в злость желаний
Лесных, преступных наших душ.

А. Лозина-Лозинский (Я. Любяр).

СТАРЫЙ РЕЗЧИК.

Арфе, да и другим, в резьбе не уступая,
Я в книги мастеров не внес своих имен,
Я ручку вазы гнул, искусством вдохновлен,
И славится моя оправа золотая.

На вазе, в серебре, у радужного края,
Последний час Христа резцом не оживлен:
Я Вакха вырезал,—и пьян, и весел он,
А рядом, стыд какой! роскошная Даная.

К тому же золотом нарезал я клинок,
Для гордости пустой душою пренебрег:
На жизнь загробную надеюсь я несмело...

А возраст к старости... На кудри веет снег...
Я умереть хочу, свершив святое дело,
Чеканя для мощей из золота ковчег!

Эредиа.

PONTE VECCHIO.

Там мастер ювелир, работой долгих бдений,
По фону золота вправляя тонко сталь,
Концом своих кистей, омоченных в эмаль,
Выращивал цветы латинских изречений.

Там пели по утрам с церквей колокола,
Мелькали средь толпы епископ, воин, инок;
И солнце в небесах из синего стекла
Бросало нимб на лоб прекрасных флорентинок.

Там юный ученик, томимый грезой страстной,
Не в силах оторвать свой взгляд от рук прекрасной,
Замкнуть позабывал ревнивое кольцо.

А между тем иглой, отточенной как жало,
Челлини молодой, склонив свое лицо,
Чеканил рукоять тяжелого кинжала.

Эредиа.

МИКЕЛЬ-АНЖЕЛО.

О, верно грозной он тревожился борьбой,
Когда один, вдали ликующего Рима,
Пророков и Сивилл чертил неустрашимо
Под сводом сумрачным угрюмою рукой!

В его груди роптал немолчною тоской,
Среди цепей и бед, Титан непобедимый...
Отечество, любовь и славы лавр любимый—
Он знал, что все падет обманутой мечтой.

И вас, гиганты, вас, в истоме тщетных сил,
Рабов, мятежников—в каком усильи смелом,
В каком стремлении художник укротил,

И холод мраморов огнем оледенелым
Весь скорбный трепет свой влагая воплотил—
Весь гнев Предвечного в бореньи вечном с телом!

Эредиа.

МИКЕЛЬ-АНЖЕЛО.

Тебе на веки сердце благодарно,
С тех пор, как я, раздумием томим,
Бродил у волн мутно-зеленых Арно,

По галлереям сумрачным твоим,
Флоренция! И статуи немые
За мной следили: подходил я к ним

Благоговейно. Стены вековые
Твоих дворцов объяты были сном,
А мраморные люди, как живые,

Стояли в нишах каменных кругом:
Здесь был Челлини, полный жаждой славы,
Боккачио с приветливым лицом,

Маккиавели, друг царей лукавый,
И нежная Петрарки голова,
И выходец из Ада величавый,

И тот, кого прославила молва,
Не разгадав,—да-Винчи, дивной тайной
Исполненный, на древнего волхва

Похожий и во всем необычайный.
Как счастлив был, храня смущенный вид,
Я—гость меж ними, робкий и случайный.

И, попирая пыль священных плит,
Как юноша, исполненный тревоги,
На мудрого наставника глядит,—

Так я глядел на них: и были строги
Их лица бледные, и предо мной,
Великие, бесстрастные, как боги,

Они сияли вечной красотой.
Но больше всех меж древними мужами
Я возлюбил того, кто головой

Поник на грудь, подавленный мечтами,
И опытный в добре, как и во зле,
Взирал на мир усталыми очами:

Напечатлела дума на челе
Такую скорбь и отвращенье к жизни,
Каких с тех пор не видел на земле

Я никогда, и к собственной отчизне
Презренье было горькое в устах,
Подобное печальной укоризне.

И я заметил в жилистых руках,
В уродливых морщинах, в повороте
Широких плеч, в нахмуренных бровях—

Твое упорство вечное в работе,
Твой гнев, создатель Страшного Суда,
Твой беспощадный дух, Буонаротти.

И скукою бесцельного труда,
И глупостью людскою возмущенный,
Ты не вкушал покоя никогда.

Усильем тяжким воли напряженной
За миром мир ты создавал, как Бог,
Мучительными снами удрученный,

Нетерпелив, угрюм и одинок.
Но в исполинских глыбах изваяний,
Подобных бреду, ты всю жизнь не мог

Осуществить чудовищных мечтаний,
И, красоту безмерную любя,
Порой не успевал кончать созданий.

Упорный камень молотом дробя,
Испытывал лишь ярость, утоленья
Не знал во век,—и были у тебя

Отчаянью подобны вдохновенья:
Ты вечно невозможного хотел.
Являют нам могучие творенья

Страданий человеческих предел.
Одной судьбы ты понял неизбежность
Для злых и добрых: плод великих дел—

Ты чувствовал покой и безнадежность
И проклял, падая к ногам Христа,
Земной любви обманчивую нежность,

Искусство проклял, но, пока уста,
Без веры, Бога в муках призывали,—
Душа была угрюма и пуста.

И Бог не утолил твоей печали,
И от людей спасенья ты не ждал:
Уста навек с презреньем замолчали.

Ты больше не молился, не роптал,
Ожесточен в страданьи одиноком,
Ты, ни во что не веря, погибал;

И вот стоишь, непобедимый роком,
Ты предо мной, склоняя гордый лик,
В отчаяньи спокойном и глубоком,

Как демон безобразен—и велик.

Д. Мережковский.

IL GIGANTE.

Средь стогн прославленных, где Беатриче Дант
Увидев: «Incipit», воскликнул, «Vita Nova»,—
Наг, юноша-пастух, готов на жребий зова,
Стоит с пращой, себя почуявший Гигант.

Лев молодой пустынь, где держит твердь Атлант,
Он мерит оком степь, и мерит жертву лова...
Таким его извел—из идола чужого—
Сверхчеловечества немой иерофант!

Мышц мужеских узлы, рук тяжесть необорных,
И выя по главе, и крепость ног упорных,
Весь скимна-отрока еще нестройный вид,—

Все в нем залог: и глаз мечи, что медля метят,
И мудрость ждущих уст—они судьбам ответят!—
Бог—дух на льва челе... О, верь праще, Давид!

Вячеслав Иванов.

ПЕРСЕЙ.

Скульптура Кановы.

Его издавна любят музы,
Он юный, светлый, он герой,
Он поднял голову Медузы
Стальной, стремительной рукой.

И не увидит он, конечно,
Он, в чьей душе всегда гроза,
Как хороши, как человечны
Когда-то страшные глаза,

Черты измученного болью,
Теперь прекрасного лица...
— Мальчишескому своеволью
Нет ни преграды, ни конца.

Вон ждет нагая Андромеда,
Пред ней свивается дракон,
Туда, туда, за ним победа
Летит, крылатая, как он.

Н. Гумилев.

ДИАНА ДЕ-ПУАТЬЕ.

Над бледным мрамором склонились к водам низко
Струи плакучих ив и нити бледных верб.
Творцов Фонтенебло торжественный ущерб
Тобою осиян, Диана-Одалиска.

Богиня строгая, с глазами василиска,
Над троном Валуа воздвигла ты свой герб,
И в замках Франции сияет лунный серп
Средь лилий Генриха и саламандр Франциска.

В бесстрастной наготе, среди охотниц-нимф
По паркам ты идешь, волшебный свой заимф
На шею уронив Оленя-Актеона.

И он—влюбленный принц, с мечтательной тоской
Глядит в твои глаза, владычица! Такой
Ты нам изваяна на мраморах Гужона.

Максимилиан Волошин.



МЕДНЫЙ ВСАДНИК.

Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О, мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте, уздой железной
Россию вздернул на дыбы?

А. Пушкин.

ПАМЯТНИК ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ.

Столицы Невской посетитель,
Кто б ни был ты—Петру поклон!
Сей медный всадник—это он,
Ее державный прародитель!
Как мощны конь и человек!
То Петр творящей мыслью правит,
Летит, отважный, в новый век
И змея древних козней давит...

И здесь руки простершей кисть
Еще в металле жизнью дышит,
Из медных уст—Россия слышит—
Гремит: «Да будет свет».—И бысть!

А. Подолинский.

* * *

К нам долетит ли бранный огонь?
Крылаты лихие дела!—
Ржет конь,
Яростный конь,
Грозный конь,
Грызет удила.

Тучей закрыли призрачный луч,
С поморья нагрянув, ветра,—
Тьма туч,
Скопища туч,
Пляска туч,
Над градом Петра.

В дни грозовые слышится вновь
Знакомый раскатистый скок.
Взвел бровь,
Тяжкую бровь,
Злую бровь
Державный ездок.

София Парнок.

ИЗ „ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ".

. . . .

И славных лет передо мною
Являлись вечные следы:
Еще исполнены великою Женою,
Ее любимые сады

Стоят, населены чертогами, столпами,
Гробницами друзей, кумирами богов,
И славой мраморной, и медными хвалами
Екатерининых орлов!..
Садятся призраки героев
У посвященных им столпов;
Глядите: вот герой, стеснитель ратных строев,
Перун кагульских берегов!
Вот, вот могучий вождь полунощного флага,
Пред кем морей пожар и плавал и летал!
Вот верный брат его, герой Архипелага,
Вот Наваринский Ганнибал!..

А. Пушкин.

* * *

. . . .

И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.
Там нежила меня дерев прохлада;
Я предавал мечтам свой слабый ум
И праздномыслить было мне отрада.
Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.
Все мраморные циркули и лиры,
И свитки в мраморных руках,
И длинные на их плечах порфиры—
Все наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья
При виде их рождались на глазах.
Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.

Один (Дельфийский идол) лик младой—
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.
Другой—женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал,
Волшебный демон—лживый, но прекрасный...

А. Пушкин.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ».

. . . . окружен волнами,
Над твердой, мшистою скалой
Вознесся памятник. Ширяяся крылами,
Над ним сидит орел младой.
И цепи тяжкие, и стрелы громовые
Вкруг грозного столпа трикраты обвились;
Кругом подножия шумя, валы седые
В блестящей пене улеглись.

А. Пушкин.

НАДПИСИ К СТАТУЯМ.

КУПИДОНУ.

Сидя на льве, Купидон будил радость могучею лирою,
И африканский лев тихо под ним выступал.
Их ваятель узрел, ударил о камень—и камень
Гения сильной рукой в образе их задышал.

К ЛЕТЯЩЕМУ МЕРКУРИЮ.

Перст указует на даль, на главе развилися крылья,
Дышет свободою грудь, с легкостью дивною он,
В землю ударя крылатой ногой, кидается в воздух...
Миг—и умчится! таков полный восторга певец.

Барон А. Дельвиг.

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ.

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печальна сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой:
Дева над вечной струей вечно печальна сидит.

А. Пушкин.

СТАТУЯ ПЕРЕТТЫ В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ САДУ.

Что там вдали, меж кустов, над гранитным утесом мелькает,
Там, где серебряный ключ с тихим журчаньем бежит?
Нимфа ль долины в прохладе теней позабылась дремотой?
Ветви, раздайтесь скорей: дайте взглянуть на нее!
Ты ль предо мною, Перетта?—Тебе изменила надежда,
И пред тобою лежит камнем пробитый сосуд.
Но молоко, пролиясь, превратилось в журчащий источник:
С ропотом льется за край, струйки в долину несет.
Снова здесь вижу тебя, животворный мой Гений, Надежда!
Так из развалины благ бьет возрожденный твой ток!

Михаил Деларю.

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ.

Уже кленовые листы
На пруд слетают лебединый,
И окровавлены кусты
Неспешно зреющей рябины,

И ослепительно стройна,
Поджав незябнущие ноги,
На камне северном она
Сидит и смотрит на дороги.

Я чувствовала смутный страх
Пред этой девушкой воспетой.
Играли на ее плечах
Лучи скудеющего света.

И как могла я ей простить
Восторг твоей хвалы влюбленной...
Смотри, ей весело грустить
Такой нарядно обнаженной!

Анна Ахматова.

«РАСЕ».

Статуя мира.

Меж золоченых бань и обелисков славы
Есть дева белая, а вкруг густые травы.

Не тешит тирс ее, она не бьет в тимпан,
И беломраморный ее не любит Пан.

Одни туманы к ней холодные ласкались
И раны черные от влажных губ остались.

Но дева красотой попрежнему горда,
И трав вокруг нее не косят никогда.

Не знаю почему—богини изваянье
Над сердцем сладкое имеет обаянье...

Люблю обиду в ней, ее ужасный нос,
И ноги сжатые, и грубый узел кос.

Особенно когда холодный дождик сеет
И нагота ее беспомощно белеет...

О, дайте вечность мне,—и вечность я отдам
За равнодушие к обидам и годам.

Иннокентий Анненский.

LA CRUCHE CASSÉE

Ни этот павильон хандры порфирородной
(Предел, поставленный тоске простонародной),
Где сладострастие и дымчатый агат,
А ныне—факелов потушенный обряд;
Ни в триумфальный год воздвигнутая арка,
Где лицемерен цвет намеренно не яркий;
Ни гладь зеленая бесчисленных запруд,
Ни желтый мох камней, как будто плесень руд,
На скудном севере далекий отблеск Рима,
Меня не повлекут назад необоримо.

Я тоже не пойду по траурным следам,
Где—«равнодушная к обидам и годам»
Обманутым стихом прославленная Pace *)
Стоит, довольная придворною удачей:
Помолодеть и ей внезапно довелось!
Отремонтирован ее «ужасный» нос
Ремесленным резцом; и выбелены раны,
Что накопили ей холодные туманы.

Я буду вспоминать, по новому скупой,
Тебя, избитую обыденной тропой,
Сочувствием вдовы, насмешкой балагура...
С рукой подпертою сидящую понуро.
Я вечер воскрешу и поглотят меня
Деревьев сумерки. Безумолчно звеня,
Пускай смешается с листвою многошумной
Гремучая струя и отдых мой бездумный.

Гр. Василий Комаровский.

*) Нос Pace, статуи в Царскосельском парке (см. стихотворение И. Анненского), приделан в июне 1913 г.

ХУДОЖНИКУ *).

Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую:
Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе.
Сколько богов, и богинь, и героев!.. Вот Зевс-громовержец;
Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу, сатир;
Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов;
Тут Аполлон—идеал, там Ниобея—печаль...
Весело мне! Но меж тем, в толпе молчаливых кумиров,
Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник.
Как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой!

А. Пушкин.

НА СТАТУИ:

1. МАЛЬЧИКА, ИГРАЮЩЕГО В БАБКИ.

(Работы Н. Пименова.)

Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился... Прочь! раздавайся, народ любопытный,
Врозь расступись: не мешай русской удалой игре.

2. МАЛЬЧИКА, ИГРАЮЩЕГО В СВАЙКУ.

(Работы Н. Логановского.)

Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый,
Строен, легок и могуч, тешится быстрой игрой.
Вот товарищ тебе, Дискобол! он достоин, клянуся,
Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать...

А. Пушкин.

*) С. И. Гальбергу.

БРОНЗОВЫЕ КОНИ.

Перед дворцом, из бронзы отлитые,
Есть кони дивные. Их пьедестал—
Гранитный мост, устои вековые.
Коней тех Клодт искусно изваял.

Встав на дыбы, узду узнав впервые,
Взвились они мятежнее стихии,
Но человек смирил их и взнуздал,
Напрягши грудь и мускулов металл.

Художник смелый выразил в контрасте
Две силы здесь,—борьбу ума и страсти.
Высокий смысл в скульптуре этой скрыт.

Зверь поднялся, ударами копыт
Повержен всадник, но железом власти
Безумство чувств рассудок победит.

Владимир Шуф.

НИМФА И МОЛОДОЙ САТИР.

(Группа Ставассера.)

«Постой хотя на миг! о камень или пень
Ты можешь уязвить разутую ступень:
Еще невинная, бежа от вакханалий,
Готова уронить одну ты из сандалий»...
Но вот, косматые колена преклоня,
Он у ноги твоей поймал конец ремня,—
Затянется теперь не скоро узел прочный:
Сатир и молодой—не отрок непорочный!
Смотри, как, голову откинувши назад,
Глядит он на тебя и пьет твой аромат,
Как дышат негою уста его и взоры!
Быть может, нехотя ты ищешь в нем опоры?
А стройное твое бедро так горячо
Теперь легло к нему на крепкое плечо!..

Нет! Мысль твоя чиста и воля неизменна:
Улыбка у тебя насмешливо-надменна.
Но—отчего, скажи—в сознаньи ль красоты,
Иль в утомлении так неподвижна ты?
Еще открытое, смежиться хочет око
И молодая грудь волнуется высоко...
Иль страсть, горящая в сатире молодом,
Пахнула и в тебя томительным огнем?

А. Фет.





ЖИВОПИСЬ

ПРЕД ИТАЛЬЯНСКИМИ ПРИМИТИВАМИ.

Как же должны быть наивно-надменны
Эти плененные верой своей!
Помнишь, они говорят: «Неизменны
Наши пути за пределами дней!»

Помнишь, они говорят: «До свиданья,
Брат во Христе! До свиданья—в Раю!»
Я только знаю бездонность страданья,
Ждущего темную душу мою.

Помнишь? Луга, невысокие горы,
Низко над ними висят небеса,
Чистеньких рощиц мелькают узоры,
Это, конечно, не наши леса.

Видишь тот край, где отсутствуют грозы?
Здесь пребывает святой Иероним,
Льва исцелил он от острой занозы,
Сделал служителем верным своим.

Львы к ним являлись просить врачеванья!
Брат мой, как я, истомленный во мгле,
Где же достать нам с тобой упованья
На измененной земле?

К. Бальмонт.

ФРА АНДЖЕЛИКО.

Если б эта детская душа
Нашим грешным миром овладела,
Мы совсем утратили бы тело,
Мы бы, точно тени, чуть дыша,
Встали у небесного предела.

Там, вверху, сидел бы добрый Бог,
Здесь, внизу, послушными рядами
Призраки, с пресветлыми чертами,
Пели бы воздушную, как вздох,
Песню бестелесными устами.

Вечно примиренные с Судьбой,
Чуждые навек заботам хмурным,
Были бы мы озером лазурным,
В бездне безмятежно-голубой,
В царстве золотистом и безбурном.

К. Бальмонт.

ФРА БЕАТО АНДЖЕЛИКО.

В стране, где гиппогриф веселый льва
Крылатого зовет играть в лазури,
Где выпускает ночь из рукава
Хрустальных нимф и венценосных фурий;

В стране, где тихи гробы мертвецов,
Но где жива их воля, власть и сила,
Средь многих знаменитых мастеров,
Ах, одного лишь сердце полюбило.

Пускай велик небесный Рафаэль,
Любимец бога скал, Буонаротти,
Да Винчи, колдовской вкусивший хмель,
Челлини, давший бронзе тайну плоти.

Но Рафаэль не греет, а слепит,
В Буонаротти страшно совершенство,
И хмель да Винчи душу замутит,
Ту душу, что поверила в блаженство.

На Фьезоле, средь тонких тополей,
Когда горят в траве зеленой маки,
И в глубине готических церквей,
Где мученики спят в прохладной раке.

На всем, что сделал мастер мой, печать
Любви земной и простоты смиренной.
О да, не все умел он рисовать,
Но то, что рисовал он,—совершенно.

Вот скалы, рощи, рыцарь на коне,—
Куда он едет, в церковь иль к невесте?
Горит заря на городской стене,
Идут стада по улицам предместий;

Мария держит Сына своего,
Кудрявого, с румянцем благородным,
Такие дети в ночь под Рождество
Наверно снятся женщинам бесплодным;

И так не страшен связанным святым
Палач, в рубашку синюю одетый,
Им хорошо под нимбом золотым,
И здесь есть свет, и там—иные светы.

А краски, краски,—ярки и чисты,
Они родились с ним и с ним погасли.
Преданье есть: он растворял цветы
В епископами освященном масле.

И есть еще преданье: серафим
Слетал к нему, смеющийся и ясный,
И кисти брал, и состязался с ним
В его искусстве дивном... но напрасно.

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Н. Гумилев.

ДЕВУШКА ИЗ SPOLETO.

Строен твой стан, как церковные свечи.
Взор твой—мечами пронзающий взор.
Дева, не жду ослепительной встречи—
Дай, как монаху, взойти на костер!

Счастья не требую. Ласки не надо.
Лаской ли грубой тебя оскорблю?
Лишь, как художник, смотрю за ограду *),
Где ты срываешь цветы,—и люблю!

Мимо, все мимо—ты ветром гонима,
Солнцем палима—Мария! Позволь

*) „Лишь, как художник, смотрю за ограду". Художники Возрождения любили изображать себя самих на своих картинах в качестве свидетелей или участников. Одни—сладострастно подсматривают из-за занавески, как старцы за купающейся Сусанной; другие—только присутствуют в качестве равнодушных участников: так, на фресках Пинтуриккио в библиотеке Энея Сильвия в Сиенском Соборе—художники Рафаэль, Андреа-дель-Сарто, Джиованни да Удинэ и сам автор стоят в церкви со свечами; присутствие третьих, повидимому, необходимо и имеет уже характер какого-то таинственного действия: так, на фреске в Новой Капелле Орвьетского Собора, изображающей свержение с небес антихриста, автор фрески Лука Синьорелли изобразил себя самого и фра Джиованни Анжелико свидетелями великого события: оба художника стоят спокойно, в темных одеждах, со сложенными руками, напоминая позами ангелов (на других фресках той же Капеллы), которые так же спокойно взирают с небес на толпу грешников, обреченных на вечные муки геенны; а перед ними волнуется целое море обнаженных тел и напряженных мускулов.

В этом стихотворении, так же как в „Благовещении", я хотел представить художника третьего типа: созерцателя спокойного и свидетеля необходимого.

Взору—прозреть над тобой херувима,
Сердцу—изведать сладчайшую боль.

Тихо я в темные кудри вплетаю
Тайных стихов драгоценный алмаз.
Жадно влюбленное сердце бросаю
В темный источник сияющих глаз.

Александр Блок.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ.

(Фреска.)

С детских лет—видения и грезы,
Умбрии ласкающая мгла.
На оградах вспыхивают розы,
Тонкие поют колокола.

Слишком резвы милые подруги,
Слишком дерзок их открытый взор.
Лишь она одна в предвечном круге
Ткет и ткет свой шелковый узор.

Робкие томят ее надежды,
Грезятся несбыточные сны.
И внезапно—красные одежды
Дрогнули на золоте стены.

Всем лицом склонилась над шелками,
Но везде—сквозь золото ресниц—
Вихрь ли с многоцветными крылами,
Или Ангел, распростертый ниц...

Темноликий Ангел с дерзкой ветвью
Молвит: Здравствуй! Ты полна красы!
И она дрожит пред страстной вестью,
С плеч упали тяжких две косы.

Он поет и шепчет—ближе, ближе,
Уж над ней—шумящих крыл шатер..
И она без сил склоняет ниже
Потемневший, помутневший взор.

Трепеща, не верит: «Я ли, я ли?..»
И рукою закрывает грудь...
Но чернеют пламенные дали—
Не уйти, не встать и не вздохнуть...

И тогда—незнаемою болью
Озарился светлый круг лица.
А над ними—символ своеволья—
Перуджийский гриф когтит тельца*).

Лишь художник, занавесью скрытый,—
Он провидит страстной муки крест
И твердит:—Profani, procul ite,
Hic amoris locus sacer est.

Александр Блок.

---

*) Гриф—символ Перуджии с древнейших времен, о чем свидетельствуют изображения грифов на соседней с городом этрусской могиле Волумниев. Под знаком грифа был и внушивший мне эти стихи Джианникола Манни, автор нескольких фресок в Collegio del Cambio (Перуджия). Под его „Благовещением“ и другими новозаветными фресками подписано: „ite procul moneo, sacer est locus, ite profani“. Как бы оградившись этим заклинанием с оттенком личного (moneo) от непосвященного и склонного заподозреть кощунство зрителя, художник позволяет себе с интимностью (вечной спутницей демонизма) изображать бытовые сцены: моют новорожденного Иоанна Крестителя; Елизавета прибегает с кумовскими ужимками сообщить Марии важную новость; тут же—история Саломеи; и наконец—темноликий вестник в красной одежде дерзким любовным приветствием заставляет красавицу оторваться от книги.—Демоны художников диктуют „Леду и Лебедя“ тому, кто замыслил „Annunziazione“ и „Гаврилиаду“—автору стихотворения „Средь множества картин“.

УСПЕНИЕ.

(Фреска.)

Ее спеленутое тело
Сложили в молодом лесу.
Оно от мук помолодело,
Вернув бывалую красу.

Уже не шумный и не ярый,
С волненьем, в сжатые персты
В последний раз Архангел старый
Влагает белые цветы.

Златит далекие вершины
Прощальным отблеском заря,
И над туманами долины
Встают усопших три царя.

Их привела, как в дни былые,
Другая, поздняя звезда.
И пастухи, уже седые,
Как встарь, сгоняют с гор стада.

И стражей вечному покою
Долины заступила мгла.
Лишь меж звездою и зарею
Златятся нимбы без числа.

А выше, по крутым оврагам
Поет ручей, цветет миндаль,
И над открытым саркофагом
Могильный Ангел смотрит в даль.

Александр Блок.

САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ.

1. Нимфа.

Среди олив на землю олеандра
Роняла золотистые листы.
И нимфа говорила: «Помнишь, Сандро?»

Он ей шептал: «скажи мне это ты,
Ты нимфа сероглазая из леса?
Кому несешь ты травы и цветы?

Быть может задремавшая принцесса
Послала быстроногого гонца?
А может нимфа, злая сатиресса?

О подожди, не укрывай лица,
Зачем в кустах ты ускользаешь тая,
И руки прячешь в жаре багрянца?

Проходит осень ясно голубая,
И у ручья шаги твои шуршат,
Когда идешь ты росы отряхая».

А нимфа отвечала: «Помнишь сад,
И тополя, желтевшие в апреле,
И розы дикие в тени оград?»

Ты помнишь нимфу, Сандро Боттичелли?

2. Рождение Венеры.

На ровный холст ложились краски кисти.
Густая прядь Венериных волос,
Лаская, становилась золотистей.

Сегодня он невидимый унес
Зарю Тосканы бледно-золотую
И столько пенных флорентийских роз

Но кто-то постучался в мастерскую,
К нему монах неведомый вошел
И молча руку вытянул сухую.

Он в угол к Боттичелли подошел,
Взглянул на нечестивые картины,
И Сандро кисти выронил на пол.

Он рассказал о том, как палладины
Недавно шли к подножию креста.
Сказал ему о косах Магдалины,

Омывшей ноги грустного Христа.
Сказав, взглянул он в очи Боттичелли,
И мастерская вновь была пуста.

О тихой Пятнице монахи пели,
И слушал Сандро чьи-то голоса
И розы видел монастырских келий.

Кто знает чьи он создал волоса —
Младой Венеры, вставшей из пучины,
Идущей в пробужденные леса,

Иль может косы грустной Магдалины.

3. Благовещение.

Перед стеной с молитвой преклоненный,
Один в своей прохладной мастерской,
Он Благовещенье писал Мадонны.

Какой глубокий и святой покой
Ей должен принести посланник Божий
И осенить ее своей рукой.

Покорный долго он писал и что же!
К нему пришли из окон, из дверей
Сатиры, на больших козлов похожи,

И фавонята с рожками зверей,
И нимфы—быстроногие газели,
Шептали все «оставь, иди скорей

Туда, где мы играем на свирели,
Где даже птицы звонкие поют
Лишь о тебе, печальный Боттичелли.

Туда, где задымился вешний пруд,
Где клонятся встревоженные ивы
И ветками тебя к себе зовут».

И Боттичелли, трепетно пугливый,
Нарисовал Мадонну не святой,
А девушкой мечтающей, стыдливой,

Что грустно ангелу твердит «постой,
Я не хочу быть праведной Мадонной,
Мне хочется свободной и простой

В лесу бродить, срывая анемоны».

4. Савонарола.

В толпе смешались дети и седые.
И к небу убегающий костер
С утра горит на Пьяцца Синьориа.

Савонарола здесь. «До коих пор
Терпеть мы будем в горе и в молчаньи
И папы грех, и властелинов спор?

Спешите вы, творите покаянье,
Посыпьте пеплом грешную главу,
Падите ниц в холщевом одеяньи».

Но кто же там во сне иль на яву
У стен идет печальный и покорный,
Не погружая взора в синеву?

Закутанный в свой бархат черный,
Художник шел спокоен и один,
Чтоб на костер сложить свой грех упорный,

Чтоб обольщенье сжечь своих картин.
Он положил. И рамы почернели.
Огонь взвился из тлеющих глубин.

И только нимфа, жившая в апреле,
Успела на него взглянуть с костра
И прошептала: «Помнишь, Боттичелли?»

От новой груды книг и серебра
Взлетели к небу огненные пчелы.
Он отошел, сказал себе «пора!»

И застонал у ног Савонаролы.

И. Эренбург.

РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ.

Мчится раковина-челн
Волей волн.
Здравствуй, юная богиня.
Блещет зыбью голубой
За тобой
Волн безбрежная пустыня.

Направляя бег ладьи,
Гнут струи,
Дуют буйные зефиры.
В чуткой утренней тиши
Камыши
Звонко зыблются, как лиры.

Ты смеешься, дочь морей,
И кудрей
Золотые гиакинфы
Треплет ветра легкий смех,
И на брег
Вышли розовые нимфы.

Дунул Пан в певучий ствол,
Луг зацвел,
Зелен и гранит бесплодный.

В солнечный, лазурный день
Манит тень
Яблони золотоплодной.

Сладок богу, смертным люб
Пурпур губ
Милой девочки Венеры,
Он хмелен, как виноград,
Хор дриад
Выбегает из пещеры.

Оглашают алтари
До зари
Игры, поцелуи танцы.
Губы тянутся к губам,
По ветвям
— Розовые померанцы.

Миру дряхлому яви
Рай любви.
Лик сияет вожделенный,
Улыбаясь и грустя.
О дитя,
Ты—надежда всей вселенной.

Сергей Соловьев.

PRIMAVERA

Улыбнулась, и проснулась,
Полня звуками леса.
За плечами развернулась
Бледно-желтая коса.

Взор, как небо, беспределен,
Глубина его пуста,
Переливчат, влажен, зелен...
Мягко-чувственны уста.

Где с фиалками шептались
Незабудки, и цвела
Маргаритка, там сплетались
Дымно-тонкие тела.

Где-то плакали свирели,
Доносился плеск воды.
В темной зелени горели
Золотистые плоды.

На полянах говор звонкий
Раздавался. В дыме сна,
Чуть скользя ногою тонкой,
По траве плыла весна.

Перевитый нитью злачной
И гирляндою цветов,
Тело скрыл полупрозрачный,
Серебрящийся покров.

Те лежали, те сидели,
Отдыхая от игры,
Где гранат тяжелых рдели
В листьях красные шары.

Юной ласковой богиней
Оживляются леса.
Яркой краской, густо-синей,
В далях блещут небеса.

Сергей Соловьев.

«MAGNIFICAT», БОТТИЧЕЛЛИ.

Как бледная рука, приемля рок мечей,
И жребий жертвенный, и вышней воли цепи,
Чертит: «Се аз, раба»—и горних велелепий
Не зрит Венчанная, склонив печаль очей:

Так ты живописал бессмертных боль лучей,
И долу взор стремил, и средь безводной степи
Пленяли сени чар и призрачный ручей
Твой дух мятущийся, о Сандро Филипепи!

И смерть ты лобызал, и рвал цветущий Тлен!
С улыбкой страстною Весна сходила в долы:
Желаний вечность—взор, уста—истомный плен...

Но снились явственней забвенные глаголы,
Оливы горние, и Свет, в ночи явлен,
И поцелуй небес,—и тень Савонаролы.

Вячеслав Иванов.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.

О Винчи, ты во всем—единый:
Ты победил старинный плен.
Какою мудростью змеиной
Твой страшный лик запечатлен!

Уже, как мы, разнообразный,
Сомненьем дерзким ты велик,
Ты в глубочайшие соблазны
Всего, что двойственно, проник.

И у тебя во мгле иконы
С улыбкой Сфинкса, смотрят вдаль
Полуязыческие жены,—
И не безгрешна их печаль:

Они и девственны, и страстны;
С прозрачной бледностью чела,
Они кощунственно-прекрасны:
Они познали прелесть Зла.

С блестящих плеч упали ризы,
По пояс грудь обнажена,
И златоокой Моны-Лизы
Усмешка тайною полна.

Все дерзновение свободы,
Вся мудрость вещая в устах,
И то, о чем лепечут воды
И ветер полночи в листах.

Пророк, иль демон, иль кудесник,
Загадку вечную храня,
О Леонардо, ты—предвестник
Еще неведомого дня.

Смотрите вы, больные дети,
Больных и сумрачных веков:
Во мраке будущих столетий,
Он, непонятен и суров,—

Ко всем земным страстям бесстрастный,
Таким останется навек—
Богов презревший, самовластный,
Богоподобный человек.

Д. Мережковский.

МОНА-ЛИЗА.

(Леонарда да Винчи.)

Скажите мне, друзья,—и в наш бездушный век
Кто не преклонится пред властью вдохновенья?
Пройдет ли холодно единый человек
Пред этим полотном бессмертного творенья?
Спокойный женский лик; лишь на немых устах
Улыбка смутная скользит и пропадает;
А взор, блуждающий в загадочных очах,
Как даль безбрежная, и манит, и пугает.

О, как прекрасен он и страшен этот взор!
В нем солнца знойный луч и ночи сумрак звездный,
Напевы райские и стоны адской бездны,
Победный зов любви и смертный приговор!

Гр. А. Голенищев-Кутузов.

ПОСВЯЩЕНИЕ ДЖИОКОНДЕ ВИНЧИ.

...le sourire étrange de la Vie.

H. de Régnier.

Сам я смеюсь над собой.
Знаю—я властен, но хил.
Ты же моею судьбой
Правишь, как мудрость могил.

Дерзко метнусь я к лучам:
Смотришь—а ты уже тут.
Взором, подобным врачам,
Правишь над дерзким ты суд.

В зыбких и твердых устах
Ведений тьмы залегли.
Силен ли я, иль зачах —
Век мне открыть не могли.

Вечно и «да» в них, и «нет».
Благо им, слава за то!
Это—премудрый ответ:
Лучше не скажет никто.

Ив. Коневской.

МАДОННА РАФАЭЛЯ.

Склоняся к юному Христу,
Его Мария осенила,
Любовь небесная затмила
Ее земную красоту.

А Он, в прозрении глубоком,
Уже вступая с миром в бой,
Глядит вперед—и ясным оком
Голгофу видит пред Собой.

Гр. А. Толстой.

ВЕНЕЦИЯ.

...Здесь, с Генуей коварной в споре,
Невеста дожей вознесла
Свой трон, господствуя на море
Могучей силою весла.
Здесь колыбель святой науки!
Здесь Греции златые звуки
Впервые преданы станкам.
Здесь по роскошным потолкам
Блистает нега Тинторетто.
Без тонких чувств и без идей,
Здесь создавалась жизнь людей
Из волн и солнечного света,
И неся гул ее молвы
В пустыни снежные Москвы.

Я полюбил бесповоротно
Твоих старинных мастеров.
Их побледневшие полотна
Сияют золотом ковров,
Корон, кафтанов. Полны ласки
Воздушные, сухие краски
Карпаччио. Как понял он
Урсулы непорочный сон!

Рука, прижатая к ланите...
Невольно веришь, что досель
Безбрачна брачная постель...
А море, скалы Базаити!
Роскошный фон Ломбардских стран
И юный, нежный Иоанн.
. . . .

Сергей Соловьев.

* * *

„Je montai l'escalier d'un pas lourd et pesant".

Théophile Gautier.

Пылают лестницы и мраморы нагреты,
Но в церковь и дворец иди, где Тинторетты
С багровым золотом мешают желтый лак
И сизым ладаном напитан полумрак.
Там в нише расцвела хрустальная долина
И с книгой, на скале, Мария Магдалина.
Лучи Спасителя и стол стеклянных блюд.
Несут белеющее тело, ждет верблюд:
Разрушила гроза последнюю преграду,
Язычники бегут от бури в колоннаду
И блеск магический небесного огня
Зияет в воздухе насыщенного дня.

Гр. Василий Комаровский.

* * *

...Есть беспощадность в примитивах.
У них для правды нет границ—
Ряды позорно некрасивых,
Разоблаченных кистью лиц.

В них дышит жизнью каждый атом:
Фуке—безжалостный анатом—
Их душу взял и расчленил,
Спокойно взвесил, осудил
И распял их в своих портретах.
Его портреты—казнь и месть,
И что-то дьявольское есть
В их окружающих предметах
И в хрящеватости ушей,
В глазах и в линии ноздрей.

Максимилиан Волошин.

MELANCHOLIA.

Гравюра Дюрера.

Среди немых руин, над свитками преданий,
Во всеоружии мышленья и познаний,
Сомненья утолив разгадкой роковой,
Богиня новая, ты овладела мной.
Да, ты божественна—и дум моих усилья
Не властны над тобой: таинственные крылья
Их отвевают прочь; но видишь, я не хром,—
А бился много раз в безмолвии ночном.
Ах, тем ужасна ты, что ничему не учишь,
Ничем не радуешь, ничем души не мучишь,
Не требуя молитв, не хочешь ничего,
И в мертвенной тоске молчишь—сильней всего!
О, если бы я мог постичь твои веленья!
Но чужды гнев тебе, веселье, сожаленья:
Ты, разлагая все, во все вонзаешь взор
И горестно молчишь всему наперекор.
Иль ты сильней меня? Победой избалован,
Ужели я тобой и побежден, и скован?
Нет, погоди еще! Зову на помощь вновь,
Порой союзницу, порой врага,—любовь.

Б. Никольский.

ИСТОЧНИК ЮНОСТИ.

(Картина Луки Кранаха.)

Холодные фонтана всплёски
Неизмеримы и легки.
Скрипят тяжелые повозки,
Носилки, тачки и клюки.

Вы, старцы—горести и мира
Надеждою увлечены!
Звенящая, пади, порфира,
На холод темной тишины:

Жизни цветущие заботы
Благотворительный фонтан
Подъял в свои водовороты
Как в некий золотой туман.

И пир поет на травах пышный,
И каждый странник, каждый гость
Рукою буйной и неслышной
Здесь выжмет молодую гроздь.

Душа свободная! ты рада
Смеяться сумрачной судьбе!—
И вот блаженная награда:
Кранаха кисть поет тебе.

Сергей Бобров.

РИБЕЙРА.

Ты не был знаком с ароматом
Кругом расцветавших цветов,
Жестокий и мрачный анатом,
Ты жаждал разъятья основ.

Поняв убедительность муки,
Ее затаил ты в крови,
Любя искаженные руки,
Как любят лобзанья в любви.

Ты выразил ужас неволи,
И бросил в беззвездный предел
Кошмары, исполненных боли,
Тобою разорванных тел.

Сказав нам, что ужасы пыток
В созданьях мечты хороши,
Ты ярко явил нам избыток
И бешенство мощной души.

И тьмою как чарой владея,
Ты мрак приобщил к красоте,
Ты брат своего Прометея,
Который всегда в темноте.

К. Бальмонт.

ВЕЛА̀СКЕС.

Вела̀скес, Вела̀скес, единственный гений,
Сумевший таинственным сделать простое,
Как властно над сонмом твоих сновидений
Безмолвствует Солнце, всегда-молодое!

С каким униженьем, и с болью, и в страхе,
Тобою—бессмертные, смотрят шуты,
Как странно белеют согбенные пряхи
В величьи рабочей своей красоты!

И этот Распятый, над всеми Христами
Вознесшийся телом утонченно-бледным,
И длинные копья, что встали рядами
Над бранным героем, смиренно-победным!

И эти инфанты, с Филиппом Четвертым,
Так чувственно-ярким поэтом-царем,
Во всем этом блеске, для нас распростертом,
Мы пыль золотую, как пчелы, берем.

Мы черпаем силу для наших созданий
В живом роднике, не иссякшем доныне,
И в силе рожденных тобой очертаний
Приветствуем пышный оазис в пустыне.

Мы так и не знаем, какою же властью
Ты был—и оазис, и вместе мираж,—
Судьбой ли, мечтой ли, умом, или страстью,
Ты вечно—прошедший, грядущий, и наш!

К. Бальмонт.

СТАРЫЕ МАСТЕРА.

Фламандская школа.

Ваш взор постиг и подсмотрел,
Меж роскоши и меж богатства,
Меж ужасов и святотатства,
Всю красоту, всю прелесть тел.

На ваших радостных полотнах
Нет женщин бледных и худых,
Как листья лилий водяных,
Как лунный лик в водах болотных;

Нет их больных, усталых глаз,
Всегда задумчиво печальных,
И—словно вздохов музыкальных—
Склоненных лиц в вечерний час;

Нет их, простертой на диванах
Поддельной, лживой красоты
В шелках, уборах из тафты
И в кружевах благоуханных.

Нет! вы не ведали румян,
Прикрас, обманов и глубоко
Во лжи сокрытого порока,
Всего, чем век наш горд и пьян!

У смело смятых изголовий
Вы позволяли нам взглянуть
На радостно нагую грудь,—
В полузадернутом алькове,

Где Афродита пастухов
И повседневные Цитеры
Стонали в счастии без меры,
Краснея от бесстыдных слов!

И в пышности средневековья,
Меж золота и меж порфир,
Всех ваших женщин пестрый мир
Исполнен силами здоровья!

В них жир белел, алела кровь,
Они с осанкой царской власти
Владели буйством сладострастий
И радостью твоей,—любовь!

Эмиль Верхарн.

БАХУС.

(Снимок с картины Рубенса, находящейся в Эрмитаже)

Ух! как мощен он! Такого
Не споишь, не свалишь с ног:
Толст, а виду неземного
Не утратил; пьян, а строг.
Посмотрите, как он вержет
Взором пламя из очей!
Как он гордо чашу держит,—
Сам не смотрит... Кто там?—Лей!—

Льют ему—и наклонилась
Чаша на бок, и струя
Через край перекатилась
И бежит. Внизу дитя—
Мальчик. Стой! Не гибни влага
Драгоценная. Плутяга
Мигом голову свою
Через плечи опрокинул,
Алый ротик свой разинул
И подставил под струю,
И хватает, как в просонках,
Что-то лучше молока,
Искры бегают в глазенках
И багровеет щека.
Тут другой мальчишка: еле
На ногах; посоловели
У него глаза; нет сил;
Уж и руки опустил;
Сам себя не понимая,
Смотрит смутно. Негодяя
Драть бы, драть бы за ушко!
Ишь—без меры натянулся!
Вот—к сторонке отвернулся,
Грудь назад, вперед брюшко—
И... бесстыдник!—Перед вами
Тут же с пьяными глазами
Тигр на шатких уж ногах;
Там Вакханка взор свой жадный
Нежит кистью виноградной,
С дикой радостью в очах.
Вот—взгляните на Силена:
С губ отвислых брызжет пена;
Словно чан, раскрыл он рот,
И цедя в сей зев просторный
Из амфоры трехведерной
Гроздий сок—без смыслу пьет,
Глупо пьет,—заране бредит,
На осле едва ль доедет

Он домой... Лишь исполин
Пьет, как следует, один—
Бахус Рубенса!—Избыток
Через край разумно льет
И божественный напиток
Он божественно и пьет.

В. Бенедиктов.

«БАХУС» РУБЕНСА.

Бахус жирный, Бахус пьяный
Сел на бочку отдохнуть.
За его плечом—багряный
Женский пеплум, чья-то грудь.

Бочка словно тихо едет,
Словно катится давно,
Но рукой привычной цедит
В чашу женщина вино.

Весел бог черноволосый,
Ждет вечерней темноты;
Кое-как льняные косы
У подруги завиты.

Скрыто небо черной тучей,
Мгла нисходит на поля...
После чаши—ласки жгучи,
И желанный одр—земля!

Но, забыв про грезы эти,
Опрокинув к горлу жбан,
Жадно влагу тянет третий...
Ах, старик, ты скоро—пьян.

Только девочке-малютке
Странно: что же медлит мать?
Только мальчик, ради шутки,
Рубашонку рад поднять.

Из пяти—блаженны двое;
Двух—блаженство знать потом;
Пятый ведал все земное,
Но блажен и он—вином.

Валерий Брюсов.

НА КАРТИНУ РЕМБРАНДТА.

Ты понимал, о, мрачный гений!
Тот грустный, безотчетный сон,
Порыв страстей и вдохновений,
Все то, чем удивил Байрон.
Я вижу—лик полуоткрытый
Означен резкою чертой...
То не беглец ли знаменитый
В одежде инока святой?
Быть может, тайным преступленьем
Высокий ум его убит;
Все темно вкруг; тоской, сомненьем
Надменный взгляд его горит.
Быть может, ты писал с природы,
И этот лик не идеал;
Или в страдальческие годы
Ты сам себя изображал?—
Но никогда великой тайны
Холодный не проникнет взор,
И этот труд необычайный
Бездушным будет злой укор.

М. Лермонтов.

* * *

Как я люблю фламандские панно,
Где овощи, и рыбы, и вино,
И дичь богатая на блюде плоском—
Янтарно-желтым отливает воском.

И писанный старинной кистью бой—
Люблю. Солдат с блистающей трубой,
Клубы пороховые, мертвых груду
И вздыбленные кони отовсюду!

Но тех красот желанней и милей
Мне купы прибережных тополей,
Снастей узор и розовая пена
Мечтательных закатов Клод Лоррена.

Георгий Иванов.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ СОН.

Ах, не было ль в этом обмана,
Тумана влюбленного сна?
Ужели все греза одна?

Я видел—проходите вы
Под сенью весенней листвы
По парку зеленому рано.

Вот вижу—любимица злая,
Свой выгнув упругий хребет,
За вами ступает вослед,
Надменно ступает борзая.

Цветет, разливает куртина
Фиалок лиловый огонь...
Ах! Узкая ваша ладонь
Ведь тоже цветок, о Алина!

Орешник склонился к вам гибкий...
Я вам говорил про любовь,
Но тонкая дрогнула бровь
Насмешкою нежной улыбки.

Зачем так уходите скоро?
Прости, милый сон мой, прости!
Ах, снова могу вас найти
Я лишь на картине Гэнсборо!..

Юрий Сидоров.

ВАТТО.

Он твой—волшебный сад, где лютни и свирели
Власть Эроса поют.. Чуть шелестят шелка.
И отблески закат, прозрачней акварели,
В жемчужно-алые роняет облака.

Пунцовых роз цветут раскидистые купы;
Не молкнут—тихий смех и отзвуки речей,
Немолчно плещущей, с уступа на уступы,
Наяды страсть поет, трепещущий ручей,

И пары стройные напудрены, завиты,
Гавота слушают певучий ритурнель.
Увы, в твой сад пути потеряны, забыты,
Изысканной любви, последний менестрель.

Владимир Эльснер.

* * *

Я буду помнить Лувра залы,
Картины, золото, паркет,
Статуи, тусклые зеркала,
И шелест ног и пыльный свет.

Для нас был Грез смешон и сладок,
Но нам так нравился за то
Скрипучий шелк чеканных складок
Темно-зеленого Ватто.
Буше—изящный, тонкий, лживый,
Шарден—интимный и простой,
Коро—жемчужный и седой,
Милле—закат над желтой нивой,
Веселый лев—Делакруа.
. . . .

Максимилиан Волошин.

МАЯКИ.

Река забвения, сад лени, плоть живая,—
О Рубенс,—страстная подушка бредных нег,
Где кровь, биясь, бежит, бессменно приливая,
Как воздух, как в морях морей подводных бег!

О Винчи,—зеркало, в чьем омуте бездонном
Мерцают ангелы, улыбчиво-нежны,
Лучом безгласных тайн, в затворе, огражденном
Зубцами горных льдов и сумрачной сосны!

Больница скорбная, исполненная стоном,—
Распятье на стене страдальческой тюрьмы,—
Рембрандт!.. Там молятся на гноище зловонном,
Во мгле, пронизанной косым лучом зимы...

О Анжело,—предел, где в сумерках смесились
Гераклы и Христы!.. Там, облак гробовой
Стряхая, сонмы тел подъемлются, вонзились
Перстами цепкими в раздраный саван свой...

Бойцов кулачных злость, сатира позыв дикий,—
Ты, знавший красоту в их зверском мятеже,
О сердце гордое, больной и бледноликий
Царь каторги, скотства и похоти—Пюже!

Ватто,—вихрь легких душ, в забвеньи карнавальном
Блуждающих, горя, как мотыльковый рой,—
Зал свежесть светлая,—блеск люстр,—в круженьи бальном
Мир, околдованный порхающей игрой!..

На гнусном шабаше то люди или духи
Варят исторгнутых из матери детей?
Твой, Гойа, тот кошмар,—те с зеркалом старухи,
Те сборы девочек нагих на бал чертей!..

Вот крови озеро; его взлюбили бесы,
К нему склонила ель зеленый сон ресниц:
Делакруа!.. Мрачны небесные завесы;
Отгулом меди в них не отзвучал Фрейшиц...

Весь сей экстаз молитв, хвалений и веселий,
Проклятий, ропота, богохулений, слез—
Жив эхом в тысяче глубоких подземелий;
Он сердцу смертного божественный наркоз!

Тысячекратный зов, на сменах повторенный;
Сигнал, рассыпанный из тысячи рожков;
Над тысячью твердынь маяк воспламененный;
Из пущи темной клич потерянных ловцов!

По-истине, Господь, вот за Твои созданья
Порука верная от царственных людей:
Сии горящие, немолчные рыданья
Веков, дробящихся у вечности Твоей!

Шарль Бодлер.

СТИХИ К ПОРТРЕТУ ОНОРЕ ДОМЬЕ.

Тот, чей портрет перед тобою,
Искусством тонким научил
Нас всех смеяться над собою:
Он мудрецом, читатель, был.

Сатирик злой и ядовитый,
Своею кистью заклеймил
Он Зло с его позорной свитой
И доказал, что добрым был.

И смех его, живой и чистый,
Не жжет, как факел фурий, нас
И ни Мельмота, ни Мефисто
Он не напомнит нам гримас.

Как бремя, душу угнетает
Их смех, где все—обман пустой;
Смех Оноре—как луч блистает,
Исполнен ясной добротой.

Шарль Бодлер.

LOLA DE VALENCE.

Надпись для картины Эдуарда Мане.

Среди всех прелестей, что всюду видит глаз,
Мои желания колеблются упорно,
Но Lola de Valense, играя как алмаз,
Слила магически луч розовый и черный.

Шарль Бодлер.

К РИСУНКАМ БЕРДСЛИ.

Весьма любезные, безумные кастраты,
Намек, пунктир, каприз и полутон,
Урод изысканный, и профиль Лизистраты,
И эллинка, одетая в роброн.
Здесь посвящен бульвар рассудочным Минервам,
Здесь строгость и порок, и в безднах да и нет,
И тонкость, точно яд, скользит по чутким нервам
И тайна, шелестя, усталый нежит бред.

А. Лозина-Лозинский.

ПЕЙЗАЖ ГОГЭНА.

К. А. Большакову.

Красен кровавый рот...
Темен тенистый брод...
Ядом червлены ягоды...
У позабытой погоды
Руки к небу, урод!..

Ярок дальний припек...
Гладок карий конек...
Звонко стучит копытами,
Ступая тропами изрытыми,
Где водопой протек.

Ивою связан плот,
Низко золотится плод...
Между лесами и селами
Веслами гресть веселыми
В область больных болот!

Видишь: трещит костер?
Видишь: топор остер?
Встреть же тугими косами,
Спелыми абрикосами,
О, сестра из сестер!

М. Кузмин.

ЖЕНЩИНА С ВЕЕРОМ.

(Картина Пикассо.)

Свершен обряд заупокойный,
и трижды проклята она,
она торжественно-спокойна,
она во всем себе верна!

Весь чин суровый отреченья
она прослушала без слез,
хоть утолить ее мученья
не властны Роза и Христос...

Да, трижды тихо и упорно
ты вызов неба приняла,
и встала, кинув конус черный,
как женщина и башня зла.

Тебе твое паденье свято,
желанна лишь твоя стезя;
ты, если пала, без возврата,
и, если отдалась, то вся.

Одно: в аду или на небе?
Одно: альков или клобук?
Верховный или нисший жребий?
Последний или первый круг?

Одно: весь грех иль подвиг целый?
Вся Истина или вся Ложь?
Ты не пылаешь Розой Белой,
ты Черной Розою цветешь.

Меж звезд, звездою б ты сияла,
но здесь, где изменяют сны,
ты, вечно-женственная, стала
наложницею Сатаны.

И вот, как черные ступени,
сердца влекущие в жерло,
геометрические тени
упали на твое чело.

Вот почему твой взор не может
нам в душу вечно не смотреть,
хоть этот веер не поможет
в тот час, как будем все гореть.

Глаза и губы ты сомкнула,
потупила тигриный взгляд,
но, если б на закат взглянула,
остановился бы закат.

И, если б сфинкса лаской муча,
его коснулась ты рукой,
как кошка, жмурясь и мяуча,
он вдруг пополз бы за тобой.

Эллис.

---

* * *

Моя душа—глухой всебожный храм,
Там дышут тени, смутно нарастая.
Отраднее всего моим мечтам
Прекрасные чудовища Китая.
Дракон, владыка солнца и весны,
Единорог, эмблема совершенства,
И феникс, образ царственной жены,
Слиянье власти, блеска и блаженства.
Люблю однообразную мечту
В созданиях художников Китая,
Застывшую, как иней, красоту,
Как иней снов, что искрится не тая.
Симметрия—их основной закон,
Они рисуют даль, как восхожденье,
И сладко мне, что страшный их дракон
Не адский дух, а символ наслажденья.
А дивная утонченность тонов,
Дробящихся в различии согласном,
Проникновенье в таинство основ,
Лазурь в лазури, красное на красном!
А равнодушье к образу людей,
Пристрастье к разновидностям звериным,
Сплетенье в строгий узел всех страстей,
Огонь ума, скользящий по картинам!

Но более, чем это все, у них
Люблю пробел лирического зноя.
Люблю постичь, сквозь легкий нежный стих,
Безбрежное отчаянье покоя.

К. Бальмонт.

ПЕРСИДСКАЯ МИНИАТЮРА.

Когда я кончу наконец
Игру в cache-cache со смертью хмурой,
То сделает меня Творец
Персидскою миниатюрой.

И небо, точно бирюза,
И принц, поднявший еле-еле
Миндалевидные глаза
На взлет девических качелей.

С копьем окровавленным шах
Стремящийся тропой неверной
На киноварных небесах
За улетающею серной.

И ни во сне, ни на яву
Невиданные туберозы,
И сладким вечером в траву
Уже наклоненные лозы.

А на обратной стороне,
Как облака Тибета, чистой,
Носить отрадно будет мне
Значок великого артиста.

Благоухающий старик,
Негоциант или придворный,
Взглянув, меня полюбит вмиг
Любовью острой и упорной.

Его однообразных дней
Звездой я буду путеводной,
Вино, любовниц и друзей
Я заменю поочередно.

И вот когда я утолю
Без упоенья, без страданья
Старинную мечту мою
Будить повсюду обожанье.

Н. Гумилев.

ШЕСТИКРЫЛЫЙ.

Мозаика в соборе.

Алел ты в зареве Батыя—
И потемнел твой жуткий взор.
И крылья рыже-золотые
В священном трепете простер.

Узрел ты Грозного юрода
Монашеский истертый шлык—
И навсегда в изгибах свода
Застыл твой большеглазый лик.

Ив. Бнуин.

АНДРЕЙ РУБЛЕВ.

Я твердо, я так сладко знаю,
С искусством иноков знаком,
Что лик жены подобен раю,
Обетованному Творцом.

Нос—это древа ствол высокий;
Две тонкие дуги бровей
Над ним раскинулись, широки,
Изгибом пальмовых ветвей.

Два вещих сирина, два глаза,
Под ними сладостно поют,
Велеречивостью рассказа
Все тайны духа выдают.

Открытый лоб—как свод небесный,
И кудри—облака над ним;
Их, верно, с робостью прелестной
Касался нежный серафим.

И тут же, у подножья древа,
Уста—как некий райский цвет,
Из-за какого матерь Ева
Благой нарушила завет.

Все это кистью достохвальной
Андрей Рублев мне начертал,
И этой жизни труд печальный
Благословеньем Божьим стал.

Н. Гумилев.

ДИАНА, ЭНДИМИОН И САТИР.

(Картина Брюллова.)

У звучного ключа как сладок первый сон!
Как спящий при луне хорош Эндимион!
Герои только так покоятся и дети...
Над чудной головой висят рожок и сети;
Откинутый колчан лежит на стороне;
Собаки верные встревожены—оне
Не видят смертного, и чуют приближенье...
Ты ль, непорочная, познала вожделенье?
Счастливец! Ты его узрела с высоты
И небо для него должна покинуть ты.
Девическую грудь невольный жар объемлет...
Диана, берегись! Старик Сатир не дремлет!..

Я слышу стук копыт... Рога прикрыв венцом,
Вот он, любовник нимф, с пылающим лицом,
Обезображенным порывом страсти зверской,
Уж стана нежного рукой коснулся дерзкой...
О, как вздрогнула ты, как обернулась вдруг!
В лице божественном и гордость, и испуг...
А баловень Эрот, доволен шуткой новой,
Готов на кулаке прохлопнуть лист кленовый.

А. Фет.

* * *

Бери свой быстрый карандаш,
Рисуй, Орловский, ночь и сечу!

А. Пушкин.

ПАМЯТИ ЖИВОПИСЦА ОРЛОВСКОГО.

Грустно видеть, Русь святая,
Как в степенные года
Наших предков удалая
Изнемечилась езда.

То ли дело встарь: телега,
Тройка, ухарский ямщик;
Ночью—дуешь без ночлега,
Днем же—высунув язык.

Но за то как все кипело
Беззаботным удальством!
Жизнь—копейка, бей же смело;
Да и ту поставь ребром!

Но как весело, бывало,
Раздавался под дугой
Голосистый запевало,
Колокольчик рассыпной.

А когда на водку гривны
Ямщику не пожалеть,
То-то песни заунывны
Он начнет, сердечный, петь!

Север бледный, Север плоский,
Степь, родные облака—
Все сливалось в отголоски,
Где слышна была тоска;

Но тоска—струя живая
Из родного тайника,
Полюбовная, святая,
Молодецкая тоска.

Сердце сердцу весть давало
И из тайной глубины
Все былое выкликало
И все слезы старины.

Не увидишь, как проскачешь,
И не чувствуешь скачков,
Ни как сердцем сладко плачешь,
Ни как горько для боков.

А проехать ли случится
По селенью в красный день?
Наш ямщик приободрится,
Шляпу вздернет на бекрень,

Как он гаркнет, как присвиснет
Горячо по всем по трем,—
Вороных он славно вспрыснет
Вдохновительным кнутом.

Тут знакомая светлица
С росписным своим окном:
Тут его душа девица
С подаренным перстеньком.

Поровнявшись, он немножко
Возжи в руки приберет,
И растворится окошко,—
Словно солнышко взойдет,

И покажется касатка,
Белоликая краса;
Что за очи, за повадка!
Что за русая коса!

И поклонами учтиво
Разменялися они,
И сердца в них молчаливо
Отозвалися сродни.

А теперь—где эти тройки?
Где их ухарский побег?
Где ты, колокольчик бойкий,
Ты, поэзия телег?

Где ямщик наш, на попойку
Вставший с темного утра,
И загнать готовый тройку
Из полтины серебра?

Русский ям молчит и чахнет,
От былого он отвык;
Русским духом уж не пахнет,
И ямщик—уж не ямщик.

Дух заморский и в деревне!
И ямщик, забыв кабак,
Распивает чай в харчевне
Или курит в ней табак.

Песню спеть он не сумеет,
Нет зазнобы ретивой
И на шляпе не алеет
Лента девицы мило́й.

По дороге, в чистом поле
Колокольчик наш заглох
И, невиданный дотоле,
Молча, тащится, трёх-трёх,

Словно чопорный Германец
При ботфортах и косе,
Неуклюжий дилижанец
По немецкому шоссе.

Грустно видеть, воля ваша,
Как у прозы под замком
Поэтическая чаша
Высыхает с каждым днем!

Как все то, что веселило
Иль ласкало нашу грусть,
Что из детства затвердило
Наше сердце наизусть,

Все поверья, все раздолье
Молодецкой старины,—
Подъедает своеволье
Душегубки-новизны.

Нарядились мы в личины,
Сглазил нас недобрый глаз...
И Орловского картины—
Буква мертвая для нас.

Но спасибо, наш кудесник,
Живописец и поэт,
Малодушным внукам вестник
Богатырских оных лет!

Русь былую, удалую
Ты потомству передашь:
Ты схватил ее живую
Под народный карандаш.

Захлебнувшись прозой пресной,
Охмелеть ли захочу
И с мечтой из давки тесной
На простор ли полечу,—

Я вопьюсь в твои картинки
Жаждой чувств и жаждой глаз
И творю в душе поминки
По тебе, да и по нас!

Кн. П. Вяземский.

ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ ИВАНОВА.

Счастлива мысль, которой не светила
Людской молвы приветная весна.
Безвременно рядиться не спешила
В листы и цвет ее младая сила,
Но корнем вглубь врывалася она.

И ранними и поздними дождями
Вспоенная, внезапно к небесам
Она взойдет, как ночь темна ветвями,
Как ночь в звездах, осыпана цветами:
Краса земле и будущим векам.

А. Хомяков.

НА СМЕРТЬ А. А. ИВАНОВА.

I. II.

. . . .

Похищенный внезапною грозою,
Ты рассчитаться с жизнью не успел.
Она ль в долгу осталась пред тобою?
Ты ль выплатить весь долг ей не посмел?

Урок, тебе завещанный, сполна ли
Ты совершил? Иль многие в груди
Зародыши созданий прозябали,
Чтоб в жизнь и блеск облечься впереди?

Не разгадать нам тайны беспощадной!
Опущена завеса. Ты унес
В безмолвный мрак своей могилы хладной
Ответ судьбы на тщетный наш вопрос.
И был ли подвиг твой одним задатком
Того, что ты в груди своей таил,—
Но прочный след на перепутьи кратком
Ты знаменьем великим озарил.

Утешься, тень, всем Русским нам родная!
Мы памяти твоей не изменим.
Твой ранний прах слезами омывая,
Не о тебе, мы о себе скорбим.
Тоской о них, о мило-незабвенных,
Объята вновь уязвленная грудь:
Обломками сосудов многоценных
Безвременно покрыт наш грустный путь.

III.

Иль суждено законом Провиденья
Прекрасному всех раньше увядать?
Иль не дано беспечным нам уменья
Прекрасное беречь и уважать?
Но лучшие из нас не долговечны.
Передовых уносит злобный рок
И все растет сей список бесконечный
На горе нам,—быть может, и в упрек.

Жизнь избранных есть боевое знамя,
Им незнаком спокойных душ досуг,
Для немощи земной—ум смелый, пламя
И творчество—таинственный недуг.

В земной семье с небес переселенцы
Не ведают о многом на земле;
Они средь нас страдальцы и младенцы
С божественной отметкой на челе.

Возлюбим их, как нас Учитель учит.
О них пещись он заповедал нам:
Подать им пить, когда их жажда мучит
И дать приют бездомным сиротам.
Но более всего,—им сострадая,
Поможем им в их доблестной борьбе,
Утешим их, когда, изнемогая,
Их страждет дух сомнением в себе.

Раскроем им и души, и объятья!
На всех путях и в каждый тяжкий час,
Да братьев в нас найдут и эти братья,
Которые слабей и выше нас.
От них и мы возвысимся душою,
Огня их искра может в нас упасть
И свято мы признаем над собою
Прекрасных чувств и дум глубоких власть.

Кн. П. Вяземский.

ПРИЗРАКИ.

Покинувшему нас
В. Э. Борисову-Мусатову.

Нежная, бледная грусть увядания,
Солнца осенний, прощальный привет,
Тихие вздохи, немые рыдания,
Счастья ушедшего призрачный свет.

Смотришь с неясной тоской ожидания,
Ждешь, что внезапно воскреснут они,—
Эти колонны, старинные здания,
Радостно чистые прошлого дни.

Призраки смутные тают в безбрежности,
Гаснут в тумане, бледнея, мечты,
Грезятся букли, жеманные нежности,
В книге старинной сухие цветы.

Вслед за творцом в неизбежность скрываются
Тени минувшего с грустью в очах,
С тихой улыбкою манят, прощаются,
Душу томит безысходности страх.

Знаешь,—навеки уходят прекрасные
Грезы отживших, исчезнувших дней,
Только запомнятся лица неясные
С грустью глядящих очей.

Б. Дикс.

М. А. ВРУБЕЛЮ.

От жизни лживой и известной
Твоя мечта тебя влечет
В простор лазурности небесной
Иль в глубину сапфирных вод.

Нам недоступны, нам незримы,
Меж сонмов вопиющих сил,
К тебе нисходят серафимы,
В сияньи многоцветных крыл.

Из теремов страны хрустальной —
Покорны сказочной судьбе,
Глядят, лукаво и печально,
Наяды, верные тебе.

И в час на огненном закате,
Меж гор предвечных видел ты,
Как дух величий и проклятий
Упал в провалы с высоты.

И там, в торжественной пустыне,
Лишь ты постигнул до конца—
Простертых крыльев блеск павлиний
И скорбь эдемского лица!

Валерий Брюсов.

ДЕМОН *).

Прижмись ко мне крепче и ближе,
Не жил я—блуждал средь чужих!..
О, сон мой! Я новое вижу
В бреду поцелуев твоих!

В томленьи твоем исступленном
Тоска небывалой весны
Горит мне лучом отдаленным
И тянется песней зурны.

На дымно-лиловые горы
Принес я на луч и на звук
Усталые губы и взоры
И плети изломанных рук.

И в горном, закатном пожаре,
В разливах синеющих крыл,
С тобою, с мечтой о Тамаре,
Я, горний, навеки без сил...

И снится—в далеком ауле,
У склона бессмертной горы
Тоскливо к нам в небо плеснули
Ненужные складки чадры...

*) Стихотворение написано под впечатлением смерти Врубеля; связь демонов Лермонтова и Врубеля, намеки на которую есть в этих стихах, подлежит исследованию. Примечание автора.

Там стелется в пляске и плачет,
Пыль вьется и стонет зурна...
Пусть скачет жених—не доскачет!
Чеченская пуля верна.

Александр Блок.

ВРУБЕЛЮ.

Так тихо-долго шла жизнь на убыль
В душе, исканьем обворованной...
Так странно-тихо растаял Врубель,
Так безнадежно очарованный...

Ему фиалки строили дымки
Лица трагически безликого...
Душа впитала все невидимки,
Дрожа в преддверии великого...

Но дерзновенье слепило кисти,
А кисть дразнила дерзновенное...
Он тихо таял,—он золотистей
Пылал душою вдохновенною...

Цветов побольше на крышку гроба:
В гробу—венчанье!.. Отныне оба—
Мечта и кисть—в немой гармонии,
Как лейт-мотив больной симфонии.

Игорь Северянин.

ТЕРЦИНЫ К СОМОВУ.

О Сомов-чародей! Зачем с таким злорадством
Спешишь ты развенчать волшебную мечту
И насмехаешься над собственным богатством?

И, своенравную подъемля красоту
Из дедовских могил, с таким непостоянством
Торопишься явить распад и наготу

Того, что́ сам одел изысканным убранством?
Из зависти ль к теням, что в оные века
Знавали счастие под пудреным жеманством?

И душу жадную твою томит тоска
По «островам Любви», куда нам нет возврата,
С тех пор, как старый мир распродан с молотка...

И Граций больше нет, ни милого разврата,
Ни встреч условленных, ни приключений тех,
Какими детская их жизнь была богата,—

Ни чопорных садов, ни резвости утех,
И мы, под бременем познанья и сомненья,
Так стары смолоду, что жизнь—нам труд и спех...

Когда же гений твой из этого плененья
На волю вырвется, в луга и свежий лес,—
И там мгновенные ты ловишь измененья

То бегло-облачных, то радужных небес,
Иль пышных вечеров живописуешь тени,—
И тайно грусть твою питает некий бес

На легких празднествах твоей роскошной лени.
И шепчет на-ухо тебе: «Вся жизнь—игра.
И все сменяется в извечной перемене

Красивой суеты. Всему—своя пора.
Все—сон, и тень от сна. И все улыбки, речи,
Узоры и цвета (то нынче, что̀ вчера)—

Чредой докучливой текут—и издалече
Манят обманчиво. Над всем—пустая твердь.
Играет в куклы жизнь,—игры дороже свечи,—

И улыбается под сотней масок—Смерть».

Вячеслав Иванов.

Н. Н. САПУНОВУ.

По небу полуночи...
М. Лермонтов.

Когда твою душу в объятиях нес
Твой ангел в селения слез,
Не небом ночным он с тобою летел,
Он тихую песню не пел.

Тебя проносил он, печален и нем,
Чрез дивно сиявший Эдем,
Где, в блеске неведомой нам красоты,
Дышали живые цветы;

Где высился радуг стокрасочных свод
Над яркой прозрачностью вод;
И отсветы чудных и нежных огней
В душе затаились твоей.

Всю краткую жизнь ты томился мечтой
Как выразить блеск неземной,
Любя безнадежно земные цветы,
Как отблеск иной красоты.

Валерий Брюсов.

БАЛЕТ.

(Картина С. Судейкина.)

О царство милое балета,
Тебя любил старик Ватто!
С приветом призрачного лета
Ты нас пленяешь, как ничто.
Болонский доктор, арлекины
И пудры чувственный угар!
Вдали лепечут мандолины
И ропщут рокоты гитар.

Целует руку... «Ах... мне дурно!
Измены мне не пережить!
Где бледная под ивой урна,
Куда мой легкий прах сложить?»
Но желтый занавес колышет
Батман, носок и менуэт.
Красавица уж снова дышит,
Ведь этот мир—балет, балет!
Амур, кого стрелой ужалишь,
Ты сам заметишь то едва,
Здесь Коломбина, ах, одна лишь,
А Арлекинов целых два.
Танцуйте, милые, играйте
Шутливый и любовный сон
И занавес не опускайте,
Пока не гаснет лампион.

М. Кузмин.





ТАНЕЦ

... Юных выводят невест из чертогов при факелах ярких
И провожают чрез город. Там свадебный гимн раздается.
Юноши в плясках кружатся, и нежно среди хоровода
Флейты и цитры звучат. И женщины перед домами,
Стоя в дверях у порога, взирают и пляске дивятся.

Гомер.

... Там же Гефест знаменитый извил хоровод разновидный,
Оному равный, как древле в широкоустроенном Кноссе
Выделал хитрый Дедал Ариадне прекрасноволосой.
Юноши тут и цветущие девы, желанные многим,
Пляшут, в хор круговидный любезно сплетяся руками.
Девы в одежды льняные и легкие, отроки в ризы
Светло одеты и их чистотой, как елеем сияют.
Тех—венки из цветов прелестные всех украшают,
Сих—золотые ножи, на ремнях чрез плечо серебристых.
Пляшут они, и ногами искусными то закружатся,
Столь же легко, как в стану колесо под рукою испытной,
Если скудельник его испытует, легко ли кружится,
То разовьются и пляшут рядами, одни за другими.
Купа селян окружает пленительный хор и сердечно
Им восхищается; два среди круга их головоходы,
Пение в лад начиная, чудесно вертятся в средине.

Гомер.

...«Мы, я скажу, ни в кулачном бою, ни в борьбе не отличны;
Быстры ногами зато несказанно и первые в море;
Любим обеды роскошные, пение, музыку, пляску,
Свежесть одежд, сладострастные бани и мягкое ложе.

... Юных выводят невест из чертогов при факелах ярких
И провожают чрез город. Там свадебный гимн раздается.
Юноши в плясках кружатся, и нежно среди хоровода
Флейты и цитры звучат. И женщины перед домами,
Стоя в дверях у порога, взирают и пляске дивятся.

Гомер.

... Там же Гефест знаменитый извил хоровод разновидный,
Оному равный, как древле в широкоустроенном Кноссе
Выделал хитрый Дедал Ариадне прекрасноволосой.
Юноши тут и цветущие девы, желанные многим,
Пляшут, в хор круговидный любезно сплетяся руками.
Девы в одежды льняные и легкие, отроки в ризы
Светло одеты и их чистотой, как елеем сияют.
Тех—венки из цветов прелестные всех украшают,
Сих—золотые ножи, на ремнях чрез плечо серебристых.
Пляшут они, и ногами искусными то закружатся,
Столь же легко, как в стану колесо под рукою испытной,
Если скудельник его испытует, легко ли кружится,
То разовьются и пляшут рядами, одни за другими.
Купа селян окружает пленительный хор и сердечно
Им восхищается; два среди круга их головоходы,
Пение в лад начиная, чудесно вертятся в средине.

Гомер.

...«Мы, я скажу, ни в кулачном бою, ни в борьбе не отличны;
Быстры ногами зато несказанно и первые в море;
Любим обеды роскошные, пение, музыку, пляску,
Свежесть одежд, сладострастные бани и мягкое ложе.

Но пригласите сюда плясунов феакийских; зову я
Самых искусных, чтоб гость наш, увидя их, мог, возвратяся
В дом свой, там всем рассказать, как других мы людей превосходим
В плаваньи по морю, в беге проворном и в пляске, и в пеньи.
Пусть принесут Демодоку его звонкогласную лиру;
Где-нибудь в наших пространных палатах ее он оставил».
Так Алкиной говорил, и глашатай, его исполняя
Волю, поспешно пошел во дворец за желаемой лирой.
Судьи, в народе избранные, девять числом, на средину
Поприща, строгие в играх порядка блюстители, вышли,
Место для пляски угладили, поприще сделали шире.
Тою порой из дворца возвратился глашатай, и лиру
Подал певцу; пред собранье он выступил; справа и слева
Стали цветущие юноши, в легкой искусные пляске.
Топали в меру ногами под песню они; с наслажденьем
Легкость сверкающих ног замечал Одиссей и дивился.
Лирой гремя сладкозвучною, пел Демодок вдохновенный
Песнь о прекрасно-кудрявой Киприде и боге Арее.

. . . .

Так воспевал вдохновенный певец. Одиссей благородный
В сердце, внимая ему, веселился; и с ним веселились
Веслолюбивые, смелые гости морей, феакийцы.
Но Алкиной повелел Галионту вдвоем с Лаодамом
Пляску начать: в ней не мог превосходством никто победить их.
Мяч разноцветный, для них рукодельным Полибием сшитый,
Взяв, Лаодам с молодым Галионтом на ровную площадь
Вышли; закинувши голову, мяч к облакам темносветлым
Бросил один; а другой разбежался и, прянув высоко,
Мяч налету подхватил, до земли не коснувшись ногами.
Легким бросаньем мяча в высоту отличась пред народом,
Начали оба по гладкому лону земли плодоносной
Быстро плясать; и затопали юноши в меру ногами,
Стоя кругом, и от топота ног их вся площадь гремела.
Долго смотрев, напоследок сказал Одиссей Алкиною:
«Царь Алкиной! благороднейший муж из мужей феакийских,
Ты похвалился, что пляскою с вами никто не сравнится:
Правда твоя; то глазами я видел; безмерно дивлюся».

Гомер.

* * *

Критянки, под гимн,
О́крест огней алтарных,
Взвивали, кружась,
Нежные ноги стройно,
На мягком лугу
Цвет полевой топтали.

Сафо.

САМОМУ СЕБЕ.

Я люблю живые хоры
Друга игор, Диониса,
Я люблю играть на лире,
Если мой состольник молод
И соперник Адониса.
Но всего люблю я больше—
Легкой вязью гиацинтов
Белоснежных увенчаться
И, резвеся, в хороводы
Юных девственниц вмешаться.
Чужд я зависти грызущей,
Стрел злословья убегаю
И на пиршестве развратном
Ссоры пьяных презираю.
В хороводах дев цветущих
Я пляшу под голос лирный
И несу тихонько бремя
Жизни сладостной и мирной.

Анакреон.

* * *

... Но чу! Прозвучало: «о Вакх, Эвоэ!»
Млеком струится земля, и вином, и нектаром пчелиным,
Смол благовонных дымом курится.
Прянет тогда Дионис...

И вот уже носится вихрем:
Он нежные кудри
По ветру распустит.
Вот факел горящий в горах замелькал
На тирсе священном.
И с вакхической песнью слились
Призывные клики:
«Ко мне, мои вакханки,
Ко мне, мои вакханки!
Роскошный дар Пактола,
Злаченые тимпаны
Пусть тяжко загудят!
Воспойте Диониса,
Ликующего бога,
На свой фригийский лад!
Нежной флейты священные звуки
Пусть нагорный вам путь усладят!»
И призыв еще не смолкнул,
А вакханка в быстром беге
Рядом с Вакхом уж несется:
Точно в стаде жеребенок
Подле матки скачет резвый.

Эврипид.

* * *

Свивайте венцы из колосьев златых;
Цианы лазурные в них заплетайте;
Сбирайтесь плясать на коврах луговых
И с пеньем благую Цереру встречайте.

Шиллер.

ВАКХАНКА.

Вся—желанье, вся—тревога,
Без сознанья и без сил,
Ты замедлила немного,
Жрица бога, чуя бога
Приближающийся пыл.

Грозен Вакх, когда к менадам
Он нисходит: трепеща,
Ты возносишь с пьяным взглядом
Тирс, увитый виноградом
И побегами плюща.

Как любовница на ложе,
Млея, кличешь: Вакх! Эвой!
И тимпан из красной кожи
Кружишь в сладострастной дрожи
Над кудрявой головой.

Ты, как жертва в час закланья,
—Непорочна и свята.
В персях—трепет и пыланье,
Дионисова лобзанья
Алчут алые уста.

Ты упала с томным стоном,
Звонко бросивши тимпан...
Тише, с шепотом влюбленным
К персям девы воспаленным
Припадает юный Пан.

Сергей Соловьев.

НИМФЫ.

Сестры, сестры! Быстро, быстро—вместе, вместе в след за ним!
Вкрадчивым топотом, ласковым шопотом, сладостным ропотом
вдруг опьяним.
Душен шелест листьев сонных, рощ лимонных сладкий бред.
Путник взволнованный, сном очарованный, негой окованный,
грезой согрет.
Ах, кружитесь, мчитесь мимо, вдруг—незримо вновь к нему.

Страхи задушите, вздохи потушите, песню обрушите в тихую тьму.
Путник милый, о, внемли же! Ближе, ближе тайный миг.
Разве ты радости, ласковой сладости, пламенной младости в нас не постиг?

Наша ночь тиха, тепла;
Играть мы будем до утра.
Нынче юная пришла
Впервые к нам еще сестра.

Звезды в небе зажжены
Среди колеблющейся тьмы:
Так торжественно должны
При них сестру приветить мы.

Клики, плески далеко
Мы бросим в пляске горячо;
В круг сплетемся так легко—
Рука с рукой, к плечу плечо.

Крикнет нимфа на бегу:
«Силены, фавны! вас зову!»
Спляшем с ними на лугу
Во сне хмельном—иль на яву?

Брат! И ты к хмельной толпе
Не устремишься ль по росе?
Легок бег босой стопе!
Эй, люди! К нам бегите все!

После плясок нас в тиши
Лелеют пирные огни.
Сестры—все мы хороши;
К любой груди чело склони.

Будет ночь жива, светла
В багровых отсветах костра.
Как в траве ала, бела
Твоя подруга и сестра!

Путник милый, о, внемли же! Ближе, ближе тайный срок!
Разве ты радости, ласковой сладости, пламенной младости нам не сберег?

Да, ты с нами! Да, ты слышишь! Грезой дышишь и горишь!
Ночь благодатная, тьма ароматная, ширь необъятная, нежная тишь!

Звуки лейтесь! Вейтесь, девы,—как напевы знойных чар!
Вами посеянный, ночью взлелеянный, вихрями взвеянный, буен пожар!

Сестры, сестры! Быстро, быстро! С нами, с нами—вот же он!
Тающим топотом, плещущим шопотом, радостным ропотом он опьянен!

Юрий Верховский.

ОСЕННИЕ ПЛЯСКИ.

Осень...
Под стройными хвоями сосен
Трелью разделяною
Свищет свирель.
Где вы
Осенние фавны и девы
Зорких охот
И нагорных озер?
Сила,
Бродившая в соке точила,
Их опьянила
И круг их затих...
Алы
Их губы, и взгляды усталы...
Лики темнее
Осенней земли...

Вот он—
Идет к заповедным воротам
Локоном хмеля
Увенчанный бог!

Бейте
В жужжащие бубны! Развейте
Флейтами дрему
Лесов и полей!
В танце
Завейтесь! В осеннем багрянце
Пляской и вихрем
Завьется земля...
Маски
Из листьев наденете в танце.
Белые ткани
Откинете с тел!
Ноги
Их давят пурпурные соки
Гроздий лиловых
И мха серебро...
Пляшет
Упившись из меха и машет
Тирсом с еловою
Шишкой сатир.

Максимилиан Волошин.

ПЛЯСКА.

Греческая мелодия.

Звучит вам музыка источниками Ксанфа.
Кружитеся вольней: здесь нет цветов аканфа...
Приветно дышут вам столетний кипарис
И роза юная—цветущий Адонис.
Смотрю я издали, сокрытый за ветвями,
Как вы летаете привольными кругами,
Как руку белую с амфорой золотой
Вы подымаете над буйной головой.
Есть радость дикая в чаду самозабвенья,
Есть неземной покой в безумстве исступленья.
Как сладко, старику, при вас забыться мне
И вспомнить со слезой о юной старине!

Н. Щербина.

ПЛЯСКА ПРИ СВЕТЕ ЛУНЫ.

Ночною порой, на мягкой траве, пляшут попарно девушки с фиалками в косах. В каждой паре одна изображает любовника.

«Мы не для вас!» говорят девушки. И те из них, кто стыдливы, прикрывают при этом свое невинное тело. Эгипан под деревьями играет на флейте.

А другие говорят: «Вы придете искать нас!» Они обтянули платья свои как мужские туники и вяло борются, перемешивая пляшущие ноги.

Затем, признавшие себя побежденными берут подруг своих за уши и, наклоняя как чашу, пьют поцелуй.

ПЛЯСКА КЛОТИС И КИЗЭ.

Меня привели к себе две молоденьких девочки и, когда дверь была заперта, они зажгли свой светильник и стали плясать для меня.

Их не покрытые румянами щеки были так же смуглы, как их маленькие животы. Они хватались за руки и говорили в одно и то же время в каком-то припадке веселья.

Усевшись на тюфяке, который держался на двух поставленных козлах, Клотис запела пронзительным голосом и стала бить в такт своими ладошками.

Кизэ плясала порывистыми телодвижениями, потом остановилась, задыхаясь от смеха, схватила за груди сестру, укусила в плечо и опрокинула ее, словно козочка, которая хочет играть.

МЕНАДЫ.

Через лес, что растет на берегу моря, мчатся менады. Масхалэ, яростногрудая, воет, тряся из сикоморы сработанным и окрашенным алою краскою фаллосом.

Все в бассарисе и увенчаны виноградными листьями, бегут и кричат они, прыгая. Щелкают в руках их кроталы, а тирсы рвут кожу звонких тимпанов.

Влажноволосые, быстроногие, с бьющимися красными грудями, с потными щеками, с пеной на устах, они предлагают Тебе обратно любовь, которую Ты в них вдохнула.

И морской ветер, вздымая к небу огненнорыжие волосы Гелиокомис, уподобил их яростному пламени на факеле белого воска.

ПОД ЗВУК КАСТАНЬЕТ.

Звонко стучащие кастаньеты держишь ты в своих легких руках, моя дорогая Мирридион, и, почти нагая, вытягиваешь свои нервные члены. Как ты красива с простертыми в воздух руками, выгнутой поясницей и покрытыми красною пудрой грудями!

Ты начинаешь. Ноги твои ступают одна за другою, дрожат и мягко скользят. Как шарф сгибается тело твое, кожа твоя, которую ты ласкаешь, дрожит, и наслаждение туманит твои утомленные очи.

Разом щелкаешь ты в кастаньеты. Выгнись в дугу на своих поставленных прямо ногах, согни чресла, шевели бедрами; пусть твои дрожащие руки привлекут к тебе всеобщие желания и завьют их как вуаль вокруг тела!

С громкими криками мы равно аплодируем, улыбаешься ли ты через плечо, колыхаешь ли в конвульсиях бедрами или трепещешь, почти распростертая, в ритм твоих воспоминаний.

ТАНЕЦ ПАЗИФАИ.

Среди шумной оргии, которую справляли у меня два молодых человека с куртизанками, где как вино струилась любовь, Дамалис, желая прославить имя свое, исполнила танец Пазифаи.

Она приказала Китиону сделать две маски: быка и коровы, для Харматида и для себя. Она носила страшные рога, а сзади волосатый хвост.

Другие женщины, предводимые мною, с факелами и цветами в руках кружились, крича, и ласкали Дамалис кончиками наших распущенных кос.

Ее мычание, наши песни и колыхание наших чресл тянулись всю ночь до утра... Комната пуста и в ней еще жарко. Я смотрю на мои покрасневшие колени и кантары с хиосским вином, где еще плавают розы.

ТАНЕЦ ЦВЕТОВ.

Антис, танцовщица из Лидии, имеет семь вуалей вокруг своего тела. Она срывает желтый вуаль, и рассыпаются ее черные локоны. Розовый вуаль скользит с ее уст. Белый вуаль дает увидеть ее голые руки.

Она освобождает свои небольшие груди, развязав свой красный вуаль. Она срывает с плеч своих синий, но прижимает к наготе последний—прозрачный вуаль.

Молодые люди ее умоляют. Она закидывает назад голову свою. При звуке одних только флейт Антис его раздирает, сперва немного, потом совершенно, и при телодвижениях пляски она срывает цветы своего тела.

И танцуя, поет: «Куда исчезли мои розы? Куда исчезли душистые фиалки? Вот мои розы, я отдаю их вам. Вот мои фиалки—возьмите их».

ВОСПОМИНАНИЕ О МНАЗИДИКЕ.

Они танцовали одна перед другой быстрым и беглым темпом. Повидимому, они все время желали сплестись в объятиях; тем не менее едва соприкасались кончиками губ.

Когда они обращались друг к другу во время пляски спиною, то через плечо глядели назад, и пот сверкал под их поднятыми кверху руками, а тонкие кончики кос прыгали у них по грудям.

Томность их глаз, жар ланит и серьезное выражение лиц были тремя страстными песнями. Они сладострастно сталкивались и сгибали в бедрах тело свое.

И вот, разом, упали они, чтобы окончить на полу свой полный нежности танец... О, Мназидика!.. Вот когда ты предстала во мне, и все вне дорогого облика твоего мне показалось ненужным!

Пьер Луис.

КАНОПСКАЯ ПЕСЕНКА.

Кружитесь, кружитесь:
держитесь
крепче за руки!
Звуки
звонкого систра несутся, несутся,
в рощах томно они отдаются.
Знает ли нильский рыбак,
когда бросает
сети на море, что он поймает?
Охотник знает ли,
что он встретит,
убьет ли дичь, в которую метит?
Хозяин знает ли,
не побьет ли град
его хлеб и его молодой виноград?
Что мы знаем?
Что нам знать?
О чем жалеть?
Кружитесь, кружитесь:
держитесь

крепче за руки!
Звуки
звонкого систра несутся, несутся,
в рощах томно они отдаются.
Мы знаем,
что все—превратно,
что уходит от нас безвозвратно.
Мы знаем,
что все—тленно,
и лишь изменчивость неизменна.
Мы знаем,
что милое тело
дано для того, чтоб потом истлело.
Вот что мы знаем,
вот что мы любим,
за то что хрупко
трижды целуем!
Кружитесь, кружитесь:
держитесь
крепче за руки!
Звуки
звонкого систра несутся, несутся,
в рощах томно они отдаются.

М. Кузмин.

ПЛЯСУНЬЯ.

Фреска.

Окрыленная пляской без роздыху,
Закаленная в серном огне,
Ты, помпеянка, мчишься по воздуху,
Не по этой спаленной стене.

Опрозрачнила ткань паутинная
Твой призывно-откинутый стан;
Ветром пашет коса твоя длинная,
И в руках замирает тимпан.

Под твоею красой величавою
Без речей и без звуков уста,
И такой же горячею лавою,
Как и ты, вся душа облита.

Но не сила Везувия знойная
Призвала тебя к жизни:—легка
И чиста, ты несешься, спокойная,
Как отчизны твоей облака.

Ты жила и погибла тедескою *)
И тедескою стала навек,
Чтоб в тебе, под воскреснувшей фрескою
Вечность духа прозрел человек.

Л. Мей.

САЛОМЕЕ.

Эти очи, любимые мраком,
Зеркала неживой пустоты,
Озари пламенеющим маком,
Смуглым углем твоей красоты!

Я принес к твоему изголовью,
Опустил возле милой руки
Темный кубок, наполненный кровью,
Неколебленой влагой тоски.

Расплеснут его знойные руки
И сплетутся, как пена волны,
Как густые, пахучие звуки,
При огнях, полуночной зурны.

О, пляши для меня, Саломея,
О, пляши для меня,—я устал,—

*) Тедеска—по-римски и итальянски—германка.

Все редеющим облаком вея
Сумасшедших твоих покрывал!

И, когда, несказанно бледнея,
Ты замрешь, как те солнца в пруду,
Красота, моя дочь, Саломея,
Я к коленям твоим припаду.

Предрассветной трубы не услышит,
Кто безмолвье забвенья вкусил.
Будет сумрак, что век не колышет
Нескончаемо-бархатных крыл.

М. Лозинский.

ПЛЯСКА САЛОМЕИ.

Е. И. Тиме.

Завесы пламенный полет
Уже шуршит над головами,
Уже под влажными губами
Тоскуют флейта и фагот;
Уже овеянная страстью,
Ужаленная злой тоской,
Она танцует пред толпой
Под звон сверкающих запястий.
Не так ли в древней Иудее
Под рокот труб и бубнов гром
Плясала буйно Саломея
Перед народом и царем?
Качались опахала странно,
Взвивались пестрые шелка
И голову Иоканаана
Держала черная рука...
И царь под тяжестью порфиры
Любовью опьянялся вновь,
И мерно капала с секиры
На огненное блюдо кровь.

И серьги в розовых ушах
О плечи бились пламенея,
И туловище Саломеи
Дрожало зыбко на коврах.

Петр Сторицын.

ПОЛУДЕННАЯ ПЛЯСКА ПЕРЕД ВИРИНЕЕМ.

Вириней сидит скалою,
Виринея перед ним,
Неподвижным и одним,
Пляшет алая, нагая.
С ней подруга. С ней другая.
Пляска—счастье им двоим
Под полуденною мглою.

Та, что выше, та смуглее.
Что поменьше, та бела:
Белой пеною была,
Чайкой белою летала,
Виринеей малой стала,
В девьей пляске расцвела
Белых птиц и пен белее.

Что смуглее, та царица,
Туча, молонья, огонь.
Сердце в ней как вешний конь.
А ресницы—глаз темницы—
Как леса в огне зарницы.
В них от яростных погонь
Сердце-конь летит, как птица.

Пляска, пляска, руки, ноги,
Груди, бедра, шеи, вихрь,
Моря полного приливы,
Гибких волн нагие взвивы,
Вольной жизни вечный вихрь—
Взор над ним прямой и строгий.

Сергей Городецкий.

ПЛЯСКИ.

Мы пляшем, пляшем, пляшем,
несемся с гиком по холмам,
пред богом плясок в круге нашем
пусть плоть покорствует кругам!

Дана нам радость в сочетанье,
в сплетенье тесном в сгибах тел;
священно голых ног мельканье,
блажен, кто в плясках быстр и смел!

Бегите, братья, шибче, девы!
Пусть ходит ветер от рубах.
От Бога—буйные запевы,
и Бог наш юный—чист и наг!

Ему не надо лжи и сказок,
пред ним быть вольно без личин,
пред Богом хмеля, Богом плясок
мы все в сплетеньях, как один!

Быстрей и шибче до забвенья!
Растут желанья, резвость ног...
До исступленья, до паденья
нам заповедал пляски Бог!

Леонид Семенов.

* * *

Пойдем в Божий дом молиться!
Там есть чудные дела.
Там праведные все ликуют,
Как ангелы в высоте...
Они так, как Давид
Пред своим ковчегом
С людьми Божиими, святыми
Скакаше, играше,

Вокруг места соединившись,
Руками восплещут,
Руками, ногами
Праведны трепещут.
Молятся—пот льется,
Как молния блистают.

Хлыстовский роспевец.

ГАМЕЛАНГ.

Гамеланг—как Море—без начала,
Гамеланг—как ветер—без конца.
Стройная Яванка танцевала,
Не меняя бледного лица.

Гибкая, как эта вот лиана,
Пряная, как губы орхидей,
Нежная, как лотос средь тумана,
Чтó чуть-чуть раскрылся для страстей

В пляске повторяющейся—руки,
Сеть прядет движением руки,
Гамеланга жалуются звуки,
В зыбком лете вьются светляки.

Над водой, где лотос закачался,
Обвенчался с светляком светляк,
Разошелся, снова повстречался,
Свет, и мрак, и свет, и свет, и мрак.

Ход созвездий к полночи откинут,
В полночь засвечается вулкан.
Неужели звуки эти минут?
В этой пляске сказка вещих стран.

За горой звенит металл певучий,
Срыв глухой, и тонкая струна.
Гамеланг—как Смерть сама—тягучий,
Гамеланг—колодец снов, без дна.

К. Бальмонт.

ПЛЯСКА.

Говорят, что пляска есть молитва,
Говорят, что просто есть круженье,
Может быть ловитва или битва,
Разных чувств—движеньем—отраженье.
Говорят... Сказал когда-то кто-то,—
Пляшешь, так окончена забота.
Говорят...
            Но говорят,
Что дурман есть тонкий яд.
И коль пляшут мне Испанки
            Счастлив я,
И коль пляшут богоданки,
Девы, жены-Самоанки
        Тут—змея.

Вся хотение. Вперед.
Вся томленье. Воздух бьет.
Убегает. Улетает.
Отдается. Упадает.
Вся движением поет
Птицы раненой полет.
Ближе, ближе. Вот смеется.
Ниже, ниже. Отдается.
Убеганьям кончен счет.
            Я—змея.
Чет и нечет. Нечет, чет.
            Я—твоя.

К. Бальмонт.

ИЗ «МАДАГАСКАРСКОЙ ПЕСНИ».

...Приблизьтесь, жены, и руками
Сплетяся дружно в легкий круг,
Протяжно, тихими словами
Царя возвеселите слух!

. . . .

Как ваше пенье сердцу внятно,
Как негой утомляет дух!
Как, жены, издали приятно
Смотреть на ваш сплетенный круг!

Да тихи, медленны и страстны
Телодвиженья будут вновь,
Да всюду с чувствами согласны
Являют негу и любовь!

Парни.

ТАНЦОВЩИЦА.

Девушка красоты неописуемой танцовала под звуки прекраснейшего оркестра. Пламя свечи—или, быть может, пламя пылавших вокруг нее сердец!—лизнуло ее тонкое покрывало.

Желая утишить испуг ее и ярость, один из обожателей воскликнул:

— Успокойся, прелестнейшая! Пламя погубило лишь твое покрывало. Умоляю, взгляни на меня: я весь пылаю!

Саади.

ПЕРСИДСКИЙ ТАНЕЦ.

(В гареме.)

Тамаре Бакалейниковой.

А-ля-ля-ляй!
А-ля-ля-ляй!

Ира̀ны ази̇́зэ мэн
Чадуром укутанэ,
Спутана.
В Персии нету измен.
Ира̀ны Мэ́н
На коврике пестром

Раскинута,
Под Небом
Священным
Нетленным,
Золотым полумесяцем
Светится
Моя милая Персия.
Ай!
В гареме душистом
Шелковом,
Чистом,
Перед шахом танцую
Я
Вся обнаженная,
Шаху руки целую
Взглядом шаха польщенная.
Мои волосы пышные
Темной ночи черней,
Я на коврике вышитом
Извиваюсь, как змей.
И
Глаза мои светятся,
Губы красный сафьян,
Брови два полумесяца,
Гибкий нежный мой стан.
Бриллиантом украшены
Мои бледные ноги,
Мои ногти покрашены,
Мои евнухи строги.
Вы
Фонтаны лучистые
Мойте сердце мое—
Мое хрупкое, чистое,
Сердце—стекло

Моя Персия—
Ираны мэн.

Александр Кусиков.

* * *

... Развеселить его желая,
Леила бубен свой берет;
В него перстами ударяя,
Лезгинку пляшет и поет.
Ее глаза, как звезды, блещут,
И груди полные трепещут.
Восторгом детским, но живым,
Душа невинная объята.
Она кружится перед ним,
Как мотылек в лучах заката,
И вдруг звенящий бубен свой
Подъемлет белыми руками,
Вертит его над головой,
И тихо черными очами
Поводит—и, без слов, уста
Хотят сказать улыбкой милой:
«Развеселись, мой гость унылый!
Судьба и горе—все мечта!»

М. Лермонтов.

* * *

... На кровле, устланной коврами,
Сидит невеста меж подруг;
Средь игр и песен их досуг
Проходит. Дальними горами
Уж спрятан солнца полукруг.
В ладони мерно ударяя,
Они поют, и бубен свой
Берет невеста молодая.
И вот она, одной рукой
Кружа его над головой,
То вдруг помчится легче птицы,
То остановится,—глядит,

И влажный взор ее блестит
Из-под завистливой ресницы;
То черной бровью поведет,
То вдруг наклонится немножко,
И по ковру скользит, плывет
Ее божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья детского полна.
Но луч луны, по влаге зыбкой
Слегка играющий порой,
Едва ль сравнится с той улыбкой,
Как жизнь, как молодость, живой.

М. Лермонтов.

* * *

Легче птицы, легче стрел
Горный танец, быстр и смел,
Кончен круг и вновь сначала
Тучкой вьется покрывало.
Гнися вниз, как нарцисс,
О Фотис, Фотис, Фотис!
Слышишь скрипок жгучий звук?
Видишь кольца смуглых рук?
Поспешай, приспело время
Бросить в пляску злое бремя!
Не стройней кипарис,
О Фотис, Фотис, Фотис!
Завевай и развевай
Хоровод наш, милый Май.
Не хочу я знать, не знаю,
Где конец настанет Маю.
Локон твой как повис,
О Фотис, Фотис, Фотис!
Белой павой дева ступит,
Кто ее казною купит?

Пролетает, улетает,
Точно тучка в небе тает.
Белый рис—крылья риз,
О Фотис, Фотис, Фотис!

М. Кузмин.

ЦЫГАНСКАЯ ПЛЯСКА.

Возьми, Египтянка, гитару,
Ударь по струнам, восклицай;
Исполнясь сладострастна жару,
Твоей всех пляской восхищай.
Жги души, огнь бросай в сердца
От смуглого лица.

Неистово, роскошно чувство,
Нерв трепет, мление любви,
Волшебное зараз искусство
Вакханок древних оживи.
Жги души, огнь бросай в сердца
От смуглого лица.

Как ночь—с ланит сверкай зарями,
Как вихорь—прах плащем сметай,
Как птица—подлетай крылами
И в длани с визгом ударяй.
Жги души, огнь бросай в сердца
От смуглого лица.

Под лесом нощию сосновым,
При блеске бледные луны,
Топоча по доскам гробовым,
Буди сон мертвой тишины.
Жги души, огнь бросай в сердца
От смуглого лица.

Да вопль твой, эвоа! ужасный,
Вдали мешаясь с воем псов,
Лиет повсюду гулы страшны,
А сластолюбие любовь.
Жги души, огнь бросай в сердца
От смуглого лица.

Нет, стой, прелестница! довольно!
Муз скромных больше не страши;
Но плавно, важно, благородно,
Как Русска дева пропляши.
Жги души, огнь бросай в сердца
И в нежного певца *).

Г. Державин.

ЦЫГАНСКАЯ ВЕНГЕРКА.

Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли...
С детства памятный напев,
Старый друг мой—ты ли?

Как тебя мне не узнать?
На тебе лежит печать
Буйного похмелья,
Горького веселья!

Это ты, загул лихой,
Ты—слиянье грусти злой
С сладострастьем баядерки—
Ты, мотив Венгерки!

Квинты резко дребезжат,
Сыплют дробью звуки...
Звуки ноют и визжат,—
Словно стоны муки.

---

*) И в нежного певца — т.-е Дмитриева, как автора эротических песен и сказок (объяснение Державина).

. . . .
Шумно скачут сверху вниз
Звуки в рассыпную,
Зазвенели, заплелись
В пляску круговую.
Словно табор целый здесь,
С визгом, свистом, криком...
Заходил с восторгом весь,
В упоеньи диком.
Звуки шопотом журчат
Сладкострастной речи...
Обнаженные дрожат
Груди, руки, плечи,
Звуки все напоены
Негою лобзаний.
Звуки воплями полны
Страстных содроганий...
. . . .

Ап. Григорьев.

ЦЫГАНКА.

Жива—как забава, как смех—весела
Несется волшебница дева,
Кружится и пляшет, быстра как стрела,
Под звуки родного напева.

Как воздух легка, пронеслась и летит,
И тешится резвой игрою;
Дика как разврат, закружилась, дрожит
И манит улыбкой живою.

Жаждой неги дыша,
Как любовь хороша,
Горяча как огонь поцелуя,
И мила и стройна,
Пролетела она,
Мимолетной улыбкой даруя.

И бежит и летит,
И дрожит и горит,
И ревнивый покров раздирает;
А с нагого плеча
Сорвалась епанча,
И шумя, перед ней упадает.

Вот она дитя востока,
В сладострастной красоте,
Жрица пышного порока,
В полной, дикой наготе.

И зовет палящим взором
Манит бархатом ланит,
И любуется позором,
И хохочет и дрожит.

Вдруг в безмолвии суровом
И стыдлива и скромна,
Под разодранным покровом,
Робко прячется она.

Так, настигнута врагами,
Чуя гибельную брань,
Исчезает за кустами
Перепуганная лань.

Миг—и снова вспыхнет дева,
Сладострастия полна,
И опять под звук напева,
Как стрела, взвилась она.

Э. Губер.

ГИТАНА.

По платью нищая, красой движений—жрица,
в толпе цыган она плясала для меня:
то, быстрая как вихрь, браслетами звеня,
кружилась бешено; то гордо, как царица,

ступала по ковру, не глядя и маня;
то вздрагивала вся, как раненая птица...
И взор ее тускнел от скрытого огня,
и вспыхивала в нем безумная зарница.

Ей было весело от песен и вина,
ее несла волна, ее пьянила пляска,
и ритмы кастаньет, и пристальная ласка
моих влюбленных глаз. И вся была она
призывна как мечта и как любовь грозна—
гитана и дитя, и женщина, и сказка!

Сергей Маковский.

ИНЬЕССА СИЕРРЫ.

Петра Камара.

Однажды посреди Сиерры
Рассказывает нам Нодье
Как в венте на ночь офицеры
Остались в брошенном жилье.

Там были погнуты устои,
В окне ни одного стекла,
Летучими мышами Гойи
Подчас прорезывалась мгла.

И ржа желтела на железе,
Ряд лестниц в небеса взбегал,
Чернели ниши,—Пиранези
Терялся средь подобных зал.

Был шумный ужин, над которым
Строй предков с полотна поник,
Но вдруг со звонким, юным хором
Смешался чей-то жалкий крик.

Из коридора, там, где с треском
Летит со стен за комом ком,
Где мрак изрезан лунным блеском,
Прелестный выбежал фантом.

То женщина, как змей свиваясь,
Танцует,—платье до колен,
Показываясь и скрываясь,
Сердца захватывая в плен.

И, чувственная без исхода,
Вздымая грудь, дрожа сама,
Она становится у входа
И сводит прелестью с ума.

Ее костюм, что стал так жесток
В холодном сумраке могил,
Вдруг озаренный, пару блесток
На рваном рубище открыл.

От странно-необычной позы,
От сумасшедшего прыжка
В кудрях увянувшие розы
Увы, почти без лепестка.

И рана, будто там бывало
Кинжала злое острие,
Полоской протянулась алой
На шее мертвенной ее.

А руки, где блестят браслеты,
Гостям дрожащим прямо в нос
Протягивают кастаньеты,
Как зубы, что стучат в мороз.

Танцует, мрачною вакханкой,
Качучу на старинный лад
И сладкой кажется приманкой,
Чтоб уводить безумцев в ад.

Как крылья, что раскрыли совы,
Дрожат ресницы на щеках,
И ямки возле рта—святого
Лишили бы небесных благ.

Под краем юбки, что взлетела,
Безумным взнесена прыжком,
Сверкает мраморное тело,
Нога под шелковым чулком.

Она бежит и стан склоняет;
Рука, белей которой нет,
Как бы цветы, соединяет
Желанья жадные в букет.

То женщина, иль привиденье,
Действительность, иль только сон,
Дрожащий как огня кипенье
И в вихре красоты взнесен?

Нет, эта странная фигура
— Испания прошедших дней,
Под звоны баскского тамбура
Бежавшая из стран теней.

И, воскрешенная так сразу
В последнем этом болеро,
Показывает нам из газа
Торреадора серебро.

И рана, спрятанная тенью,
Удар смертельный, что дает
Исчезнувшему поколенью,
Рождаясь, каждый новый год.

Я вспомнил все в стенах Gymnase'a,
Где весь Париж дрожал вчера,
Когда, как в саване из газа,
Явилась Петра Камара.

Над взорами ресниц завеса,
Едва скрывающая дрожь;
И, как убитая Иньесса,
Она плясала—в сердце нож.

Теофиль Готье.

ТАНЕЦ.

Две их, две их, в вихре танца, пронеслись передо мной.
Всплески пляски, огнь румянца, сеть мантилии сквозной.

Рты гранатно приоткрыты, зубы—жемчуг в два ряда,
Очи ярки, в очи влиты—звезды, Небо, и вода.

Не простая, не речная, а морская, синий вал,
В два вместился водоема, и, блеснувши, задремал.

К. Бальмонт.

ХАБАНЭРА.

Я пою и струны строю, —
О, красавица, спеши!
В танце знойном и крылатом
Будь мне легкою сестрою,
И со мною, стройным братом,
Хабанэру пропляши!

Ты идешь, твои колени
Пенят зыбкие шелка.
Покрывало плавно машет,
В темном взоре—слезы лени,
В пышных косах плещет, пляшет
Пламя желтого цветка.

И широкого сомбреро
Дерзко загнуты края.
Сладострастьем глаз и стана
Ты—влюбленная гетера,
Гибкой силой—ты гитана,
Ты пантера! ты змея!

О, пляши же, пляской пьяной
Сердце нежно горяча...
Дай мне длить безумный танец,
Дай вдыхать мне этот пряный,
Этот смуглый померанец —
Золотой загар плеча.

Ослепи цветным нарядом,
Тамбурином оглуши!
Истоми меня, измучай,
Околдуй змеиным взглядом,
Захлестни косой летучей!
О пляши! пляши! пляши!..

Все плывет и золотится...
Рядом падая в траву,
Мы не знаем на яву ли
Луч целует наши лица,
Иль мы в танце ускользнули
В огневую синеву.

Семен Рубанович.

ИСПАНКЕ.

Не лукавь же, себе признаваясь,
Что на миг ты был полон одной,
Той, что встала тогда, задыхаясь,
Перед редкой и сытой толпой...

И в бедро уперлася рукою,
И каблук застучал по місткам,
Разноцветные ленты рекою
Буйно хлынули к белым чулкам..

Но, средь танца волшебств и наитий,
Высоко занесенной рукой
Разрывала незримые нити
Между редкой толпой и собой,

Чтоб неведомый северу танец,
Крик Handa и язык кастаньет
Понял только влюбленный испанец,
Или видевший Бога поэт.

Александр Блок.

РУССКИЕ ДЕВУШКИ.

Зрел ли ты, певец Тиисский,
Как в лугу весной бычка
Пляшут девушки Российски
Под свирелью пастушка?
Как, склонясь главами, ходят,
Башмачками в лад стучат,
Тихо руки, взор поводят
И плечами говорят?
Как их лентами златыми
Челы белые блестят,
Под жемчугами драгими
Груди нежные дышат?
Как сквозь жилки голубые
Льется розовая кровь,
На ланитах огневые
Ямки врезала любовь?
Как их брови соболины,
Пелный искр соколий взгляд,
Их усмешка—души львины
И орлов сердца разят?

Коль бы видел дев сих красных,
Ты б гречанок позабыл
И на крыльях сладострастных
Твой Эрот прикован был.

Г. Державин.

ХАРИТЫ.

По следам Анакреона
Я хотел воспеть Харит,—
Феб во гневе с Геликона
Мне предстал и говорит:
«Как! и ты уже небесных
Дев желаешь воспевать?
Столько прелестей бессмертных
Хочет смертный описать!
Но бывал ли на высоком
Ты Олимпе у богов?
Обнимал ли бренным оком
Ты веселье их пиров?
Видел ли Харит пред ними,
Как, под звук приятных лир,
Плясками они своими
Восхищают горний мир;
Как с протяжным, тихим тоном
Важно павами плывут;
Как с веселым, быстрым звоном
Голубками воздух вьют;
Как вокруг они спокойно
Величавый мещут взгляд;
Как их всех движенья стройно
Взору, сердцу говорят?
Как хитоны их эфирны,
Льну подобные власы,
Очи светлые, сапфирны
Помрачают всех красы?

Как богини всем собором
Признают: им равных нет,
И Минерва важным взором
Улыбается им в след?
Словом, видел ли картины,
Непостижные уму?»
«Видел Внук Екатерины» *),
Я ответствовал ему.
Бог Парнасса усмехнулся,
Дав мне лиру отлетел.
Я струнам ее коснулся
И младых Харит воспел.

Г. Державин.

* * *

...«Русскую!» крикнул вдруг Митя и, хлопнув рукой по колену,
Стал вызывающе. В танцах излюбленных был он искусен,
Знал краковяк, па-д-эспань, горячо расходился в лезгинке,
В русской же пляске фигуру он выучил только «картошку».
Быстро промчавшись до двери, он открывал лишь дорогу
Тем, кто желал бы пройтись в величаво-размашистой пляске.
Все же стояли недвижно, боясь выступать пред собраньем
Мудро-степенных мужей, что следили, как резвая юность
В шумных забавах кружится; меж тем увлекало невольно
Всех молодое желанье пройтись под задорные звуки
Среброголосой гармоньи,—ведь мастером многоталанным
Писаря младший помощник считался в округе недаром!
Быстрыми пальцами он чуть скользнул по костяшкам блестящим
Черно-упругих ладов и широкими двинул мехами.
Звонко запели лады. И шепнула здесь крестная Маше,
Чтоб не робея она среди круга с платком появилась.
Розовым нежным румянцем зарделася Маша, но вышла;
Белый платок в задрожавшей руке колебался, так ветер
Белую яблонь колышит, цвет лепестками роняя.
Вдруг разлетелись лады, что стая стрижей быстрокрылых;

*) Стихотворение изображает русскую пляску двух великих княжен, внучек Екатерины.

Тут, покоряяся звукам, Маша всплеснула руками,
Дрогнули веки стыдливо, на миг загорелися очи,—
И лебединая пляска в гостях захватила дыханье.
Ласково свесив усы и колени накрыв бородою,
Девы румяной движенья почтенные мужи ценили,
Легкость и плавность кругов и плеск, серебристо-певучий
Белых ладоней, звучащий на каждом ее повороте.
Федор вздрогну́л и не помнил себя, когда ж проплывала
Маша, коснувшись его невзначай темно-русой косою,
Бросился следом за ней и искусство свое обнаружил.
Так они вместе кружились, охвачены радостным пылом
Юности легкой, прозрачной, как утренний луч. Той порою
«Славная пара!» подумал отец Александр и прибавил
В мыслях своих, что невесткой дева была бы хорошей.
Зрителей пылкий восторг обуял, и они заглушили
Громкой хвалою гармонью, когда прекратилася пляска.

Павел Радимов

В ДИКОЙ ПЛЯСКЕ.

Гармоника, гармоника!
Эй, пой, визжи и жги!
Эй, желтенькие лютики,
Весенние цветки!

Там с посвистом, да с присвистом
Гуляют до зари,
Кусточки тихим шелестом
Кивают мне: смотри.

Смотрю я—руки вскинула,
В широкий пляс пошла,
Цветами всех осыпала
И в песне изошла...

Неверная, лукавая,
Коварная,—пляши!
И будь навек отравою
Растраченной души.

С ума сойду, сойду с ума,
Безумствуя, люблю,
Что вся ты—ночь, и вся ты—тьма,
И вся ты—во хмелю...

Что душу отняла мою,
Отравой извела,
Что о тебе, тебе пою,
И песням нет числа!..

Александр Блок.

* * *

Топни-ка, ножка!
Правая немножко!
Лева полютее!
Милу полюбее!

Деревенская частушка.

UM DIE LINDE.

...над этой сладкой прозой...
Брюсов.

Малый и старый
Сошлися у липки.
Кружатся пары
Под пение скрипки.

Старые, трубки куря,
Пиво баварское пили.
Там зажигала заря
Церкви готической шпили.

Девушке нравится парень один:
Щечки зардели, и смотрит в передник.
Парень—соседнего фермера сын,
С виду хорош и богатый наследник.

Нравится Генриху пухлая Минна,
Только ее выбирает для пляски.
Робко прильнула к нему, и невинно
Смотрят на юношу синие глазки.

Слышится смех, болтовня, комплименты.
Блещет помада на черных усах.
Желтые, алые, синие ленты
Прыгают в русых и черных косах.

Что за красавицы! сочные губки,
Щечки—что розы, и вздернутый нос!
Старые курят задумчиво трубки,
Пьют, обсуждая серьезный вопрос.

Парни танцуют умело и браво;
Кружатся, вертятся—целый их полк.
Девушки носятся влево и вправо,
Только шуршит, развевается шелк.

Малый и старый
Сошлися у липки.
Кружатся пары
Под пение скрипки.

Сергей Соловьев.

ТАРАНТЕЛЛА.

(На голос: „Già la luna è mezz' al mare"...)

Нина, Нина, тарантелла!
Старый Чьеко уж идет!
Вон — уж скрипка загудела!
Вкруг становится народ!
Приударил Чьеко старый...
Точно птички на зерно,
Отовсюду мчатся пары!..
Вон—уж кружатся давно!

Как стройна, гляди, Аглая!
Вот помчались в круг живой—
Очи долу, ударяя
В тамбурин над головой!
Ловок с нею и Дженнаро!..
Вслед за ними нам—смотри!
После тотчас третья пара...
Ну, Нинета... раз, два, три...

Завязалась, закипела,
Все идет живей, живей,
Обуяла тарантелла
Всех отвагою своей...
Эй, простору! шибче скрипки!
Юность мчится! с ней цветы,
Беззаботные улыбки,
Беззаветные мечты!

Эй, синьйор, синьйор! угодно
Вам в кружок наш, может быть,
Иль свой сан в толпе народной
Вы боитесь уронить?
Ну, так мимо!.. шибче скрипки!..
Юность мчится! с ней цветы,
Беззаботные улыбки,
Беззаветные мечты!

Вы, синьйора? Вы б и рады,
К нам сердечко вас зовет...
Да снуровка без пощады
Вашу грудь больную жмет...
Ну, так мимо!.. шибче скрипки!
Юность мчится! с ней цветы,
Беззаботные улыбки,
Беззаветные мечты!

Вы, философ! дайте руки!
Не угодно ль к нам сюда!

Иль кто раз вкусил науки—
Не смеется никогда?
Ну, так мимо!.. шибче скрипки!
Юность мчится! с ней цветы,
Беззаботные улыбки,
Беззаветные мечты!

Ты что смотришь так сурово,
Босоногий капуцин?
В сердце памятью былова,
Чай, отдался тамбурин?
Ну—так к нам—и шибче скрипки!
Юность мчится! с ней цветы,
Беззаботные улыбки,
Беззаветные мечты!

Словно в вихре мчатся пары,
Не сидится старикам...
Расходился Чьеко старый
И подплясывает сам...
Мудрено ль! вкруг старой скрипки
Так и носятся цветы,
Беззаботные улыбки,
Беззаветные мечты!

Не робейте! смейтесь дружно!
Пусть детьми мы будем век!
Человеку знать не нужно,
Что такое человек!..
Что тут думать!.. шибче скрипки!
Наши—юность и цветы,
Беззаботные улыбки,
Беззаветные мечты!

А. Майков.

МЕНУЭТ.

Среди наследий прошлых лет
С мелькнувшим их очарованьем
Люблю старинный менуэт
С его умильным замираньем.

Ах, в те веселые века
Труднее не было науки,
Чем ножки взмах, стук каблучка
В лад под размеренные звуки!

Мне мил веселый ритурнель
С его безумной пестротою,
Люблю певучей скрипки трель,
Призыв крикливого гобоя.

Но часто ваш напев живой
Вдруг нота скорбная пронзала,
И часто в шумном вихре бала
Мне отзвук слышался иной, —

Как будто проносилось эхо
Зловещих, беспощадных слов,
И холодело вдруг средь смеха
Чело в венке живых цветов!

И вот, покуда приседала
Толпа прабабушек моих,
Под страстный шопот мадригала
Уже судьба решалась их!

Смотрите: плавно, горделиво
Скользит маркиза пред толпой
С министром под руку... О диво!
Но робкий взор блестит слезой..

Вокруг восторг и обожанье,
Царице бала шлют привет,
А на челе Темиры след
Борьбы и тайного страданья.

И каждый день ворожею
К себе зовет Темира в страхе:
— «Открой, открой судьбу мою!»
— «Сеньора, ваш конец—на плахе!»

Ш. Д'Ориас.

* * *

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный;
Чета мелькает за четой.

А. Пушкин.

* * *

Мазурка раздалась. Бывало,
Когда гремел мазурки гром,
В огромной зале все дрожало,
Паркет трещал под каблуком,
Тряслися, дребезжали рамы;
Теперь не то: и мы, как дамы,
Скользим по лаковым доскам.
Но в городах, по деревням,
Еще мазурка сохранила
Первоначальные красы:
Припрыжки, каблуки, усы
Все те же; их не изменила
Лихая мода, наш тиран,
Недуг новейших россиян.

А. Пушкин.

* * *

Пышен бал...... как сотни лун, кинкеты
В благовонном сумраке горят;
Дамы в радугу, в лучи одеты,
Кавалеры в траурный наряд.

Инструментов огненные звуки
Льют веселье и забвенье в кровь,
Подали, сплели танцоры руки,
В взглядах чувство, на устах любовь.

Власть приличья!—власти нет закона!
Ближе, светом разделенные сердца!
Громче, громче, песня котильона!
Бал продлись до гроба, до конца.

Упивайтесь узники свободой!
Лишь теперь ревнивый, зверский муж,
Между душ, обвенчанных природой,
Не вползет, как ненавистный уж.

Быстры, быстры, сладкие досуги!
Юноша, продли счастливый пир!
Даже память счастья из подруги
Высосет соперник, как вампир!

Тайным воплям женщин—нет участья!
Слезы их—подушка только пьет!
На насильственной кровати сладострастья
В эту ж ночь ее, как змей, он обовьет!

Громче, громче, быстрое аллегро!
В танцах нет покорности судьбам!
Кавалеры, черные как Негры,
Майских бабочек ловите—дам.

Е. Бернет.

В ВАЛЬСЕ.

Огонь созвучий,
Аккордов пенье,
О вальс певучий,
Мое забвенье.
Ты льнешь украдкой
Мечтою ложной,
Ты—отдых сладкий
Души тревожной.

Кольцом неверным
Сомкнуты звенья,
В движеньи мерном
Покой забвенья.
В огне созвучий,
В живом стремленьи —
И трепет жгучий,
И утоленье.

М. Лохвицкая.

ВАЛЬС.

Похолодели лепестки
Раскрытых губ, по-детски влажных —
И зал плывет, плывет в протяжных
Напевах счастья и тоски.

Сиянье люстр и зыбь зеркал
Слились в один мираж хрустальный —
И веет, веет ветер бальный
Теплом душистых опахал.

Ив. Бунин.

ЛЕТНИЙ БАЛ.

Был тихий вечер, вечер бала,
Был летний бал меж темных лип,
Там, где река образовала
Свой самый выпуклый изгиб,

Где наклонившиеся ивы
К ней тесно подступили вплоть,
Где показалось нам — красиво
Так много флагов приколоть.

Был тихий вальс, был вальс певучий,
И много лиц, и много встреч.
Округло-нежны были тучи,
Как очертанья женских плеч.

Река казалась изваяньем
Иль отраженьем небес,
Едва живым воспоминаньем
Его ликующих чудес.

Виктор Гофман.

* * *

Вальсовый ветер кружит
Прозрачные быстрые ноги.
Жаркие кольца туже
Вяжут и режут многих.
Если нежные пары
Рвут на части паркет —
Это гремят фанфары
Наших над жизнью побед!
Ах, у всех, кто венчался
Горьким и страстным венцом,
В пламенной буре вальса —
Радостное лицо!
Что, как не танец, завертит,
Вольным вихрем кружа,
Выше жизни и смерти,
Острее ножа?

Иннокентий Оксенов.

ПОЛЬКА.

Я люблю вас с болью слез.
Вы скользите по паркету,
Быстрый танец вас унес
К счастью, к солнцу, к жизни, к свету.

Быстрый танец закружил
В вихре грез немые пары,
Я в тиши подсторожил
Блеск очей, сердец удары.

Электрических огней
Льется свет на вас тревожно.
Прочь заботы серых дней,
Будет правдой все, что ложно!

Вы во сне—я на яву:
Вижу, вижу в вихре танца
Под глазами синеву,
Лихорадочность румянца,

Пусть же будет весел такт,
Оживленны кавалеры,
Этот вечер лишь антракт
В пьесе скучной, в жизни серой.

A Marie.

* * *

Больше я не фокусник, чинно напомаженный.
Сразу мы покончили тягучие дела.
Стало ослепительно. Радостно и радужно.
Скинули оковы дерзкие тела.

Светлые поэты! Безрассудно выстроим
Пышными поэзами украшенный сераль,
Чтобы покраснели важные филистеры,
Чтобы растерялась терпкая мораль.

Девушки движеньями гордо грациозными
Сдержанной корректности поставили капкан.
Правила приличия закиданы мимозами!
Пляшет целомудрие безнравственный канкан!

Льются и лепечут легкие мелодии.
Мраморные статуи рассыпали сирень.
Пламенно взвивается воздушное бесплодие,
Стелются томления возжаждавших сирен.

Пиршество за пиршеством! Оргия за оргией!
Томные танцовщицы сменяют Лорелей!
После будем умными, насытившись восторгами,
Будем озадачивать трухлявых королей.

Владимир Пруссак.

ТАНГО.

Гурман и сибарит—живой и вялый скептик,
Два созерцателя презрительно тупых, —
Восторженный поэт—болтун и эпилептик —
И фея улицы—кольцо друзей моих.

Душою с юности жестоко обездолен,
Здесь каждый годы жжет, как тонкую свечу...
А я... Я сам угрюм, спокоен, недоволен,
И денег, Индии и пули в лоб хочу.

Но лишь мотив танго, в котором есть упорность,
И связность грустных нот захватит вместе нас,
Мотив, как умная, печальная покорность,
Что чувствует порок в свой самый светлый час,

А меланхолию тончайшего разврата
Украсят плавно па под томную игру,
Вдруг каждый между нас в другом почует брата,
А в фее улицы озябшую сестру.

А. Лозина-Лозинский.

ТАНЦОВЩИЦА.

Твои виски полузакрыты
Рядами черных завитков.
Озарены твои ланиты
Блестящим жемчугом зубов.

Тонка, легка, как стебель гибкий,
Как острый блещущий стилет,
Застыла ты, сверкнув улыбкой,
При щелке мерных кастаньет.

Но вот, внимая струнам знойным,
Заслыша бубна гулкий стук,
Ты в танце пламенном и стройном
Обходишь яркий полукруг.

То, простирая вдаль объятья,
Улыбкой сдерживая страсть,
Ты, разбросав гирляндой платья,
Зовешь к ногам твоим припасть.

То, утомясь, ты замираешь,
Вскрывая веер у плеча,
То снова бурею взлетаешь,
Пурпурный шелк одежд влача.

Вот с блеском взора легче лани
Припала на колено ты,
Приемля гул рукоплесканий,
Восторги, клики и цветы.

Борис Садовской.

ЯПОНСКОЙ АРТИСТКЕ САДО-ЯККО,

которую я видел в Париже.

В полутемном строгом зале
Пели скрипки, Вы плясали.
Группы бабочек и лилий
На шелку зеленоватом
Как живые говорили
С электрическим закатом
И ложилась тень акаций
На полотна декораций.

Вы казались бонбоньеркой
На изящной этажерке
И как беленькие кошки,
Как играющие дети,
Ваши маленькие ножки
Трепетали на паркете
И жуками золотыми
Нам сияло Ваше имя.

И, когда Вы говорили,
Мы далекое любили,
Вы бросали в нас цветами
Незнакомого искусства,
Непонятными словами
Опьяняя наши чувства.
И мы верили, что солнце
—Только вымысел японца.

Н. Гумилев.

ТАНЦОВЩИЦА.

Расцвела улыбкой странной, ткани вышитые взвеяв,
Опьянила темным взором, смуглотою стройных плеч...
И поникла в зыбкий танец, уронивши легкий веер,
Погасила свеч мерцанье, блестки томные развеяв,
Раня трепетное сердце предвещаньем тайных встреч.

Кто-то с темной галлереи веял негой серпантина,
Негой вкрадчиво-манящей, желтой, алой, голубой...
Ты взмахнула звонким бубном—и цветная паутина
Опьяненно закружилась, расцветая за тобой.

Я узнал тебя, плясунья, по излому темной брови,
По зрачкам, застывшим тускло, затаившим томный жар,
По плечам янтарно смуглым в тонком тюлевом покрове...
Я узнал тебя, колдунья, чтоб с тобою внове, внове
Жаждать горьких упоений, роковых запретных чар...

Помнишь Тибр, ненастный вечер, тусклый чад в гнилой таверне?
Я хмелел над темным кубком, странный сон туманил кровь...
Ты вошла царевной гибкой в мой пустынный мир вечерний...
Я любить не мог безумней, опьяненней, суеверней,
И навек во тьме столетий я зажег свою любовь.

Помню—звуки налетали... помню быстрый звон кроталий...
Уплывала в легком танце и шептала: буду вновь...
Взор склонив, я ждал в печали, чтобы очи заблистали,
Чтоб под тихий звук сандалий вновь в груди запела кровь...
Чтоб из пепла сонных далей встала пламенем любовь...

И теперь в огнях эстрады стелешь сладостные сети,
Как царица меж избранниц, разливаешь грозный яд...
И быть может в мгле столетий, на неведомой планете,
Я увижу зыбкий танец, я почую темный взгляд...
Мы навек в кольце возврата. Мы на век сестра и брат...

София Дубнова.

НА БАЛЕТ: ЗЕФИР И ФЛОРА *).

Что за призраки прелестны,
Легки, светлы существа,
Сонм эфирный, сонм небесный,
Тени, лица божества,
В неописанном восторге
Мой лелеют, нежат дух?
Не богов ли я в чертоге?—
Прав ты, прав ты, Шведенбург! **)

*) Сочинено в 1808 году, в то самое время, как сей прелестный балет был представлен в Эрмитаже.

**) Шведенбург в своих мечтательных сочинениях описывает обители небесных добрых духов, подобно городам, где есть и домы, и сады, и где духи веселятся и блаженствуют.

Вижу холм под облаками,
Озлащаемый лучем,
Осеняемый древами,
Ожурчаемый ключем;
Средь сребристых вод и брегу
Лебедей, детей зрю вдруг;
Вижу всю Эдемску негу.—
Прав ты, прав ты, Шведенбург!

Слышу, дышит повсеместно,
Порхает вкруг роз Зефир,
Улыбается прелестно
Красота от звуков лир;
Душ невинных разговоры
Как гармония вокруг *),
Как зари, их светят взоры.—
Прав ты, прав ты, Шведенбург!

Дремлет злоба с мрачным свойством,
Спит, нахмурясь, бранный жар;
Мир, объемляся с спокойством,
Пьют божественный нектар;
Духи вверх и вниз шурмуют,
Хороводы вьются вкруг;
С дружбою любовь ликуют.—
Прав ты, прав ты, Шведенбург!

Прав ты, что воображеньем
Мог сих таинств доходить,
Что мы плоти с отверженьем
Будем с Ангелами жить.
Ах! коль ложно это чувство,
Наш бессилен, смертен дух:
Не творило б див искусство.—
Прав ты, прав ты, Шведенбург!

*) Шведенбург утверждает, что их разговоры подобны тихой, гармонической музыке.

Не могли б мы возвышаться
И к понятию духов,
Их блаженством утешаться
На земле средь облаков;
Днесь их разность в том лишь с нами,
Что наш связан с телом дух:
Будем, будем мы богами!
Прав ты, прав ты, Шведенбург!

Г. Державин.

* * *

...И девы, как сны мимолетные, там
К далеким, казалось, лететь небесам
В движеньях воздушных хотели.

Взгляньте, как их дивный рой
Меж столбов резных мелькает;
Как от люстры золотой
Над эфирною толпой
Купол яшмовый сияет!
Взгляньте, как они вдали
В узах розовых томятся,
Развиваются, кружатся,
Чуть касаются земли!
Взгляньте, как живые звуки
Ловят ножки; как потом
Беломраморные руки
Гибким сходятся плетнем!

Виктор Тепляков.

* * *

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, все кипит:
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.

А. Пушкин.

ТЕЛЕШЕВОЙ.

в балете „Руслан и Людмила", где она является обольщать витязя.

О, кто она? Любовь, Харита,
Или Пери, для страны иной
Эдем покинула родной,
Тончайшим облаком обвита?
И вдруг—как ветр ее полет!
Звездой рассыплется, мгновенно
Блеснет, исчезнет, воздух вьет
Стопою, свыше окрыленной...
Не так ли наш лелеет дух
Отрадное во сне виденье,
Когда задремлет взор и слух,—
Но бодро в нас воображенье?
Улыбка внятная без слов,
Небрежно спущенный покров,
Как будто влаги облиянье;
Прерывно персей волнованье,
И томной думы полон взор;
Созданье выспреннего мира
Скользит, как по зыбям эфира
Несется легкий метеор.

Зачем манишь рукою нежной?
Зачем влечешь из дальних стран
Пришельца в плен твой неизбежный,
К страданью неисцельных ран?
Уже не тверды заклинаньем
Броня, и щит его, и шлем;
Не истомляй его желаньем,
Не сожигай его огнем
В лице, в груди горящей страсти
И негой распаленных чувств!
Ах! этих игр, утех, искусств
Один ли не признает власти!
Изнеможенный он в борьбе,
До капли в душу влил отраву,
Себя, и честь, и долг, и славу,—
Все в жертву он отдал тебе.

Но сердце! Кто твой восхищенный
Внушает отзыв? Для кого
Порыв восторга твоего —
Звучанье лиры оживленной?
Властительницы южных стран,
Чье царство—роз и пальм обитель,
Которым Эльф обворожитель
В сопутники природой дан!
О, нимфы, девы легкокрылы!
Здесь жаждут прелестей иных:
Рабы корыстных польз унылы
И безрассветны души их.
Певцу красавиц что́ в награду?
Пожнет он скуку и досаду,
Роптаньем струн не пробудив
Любви в пустыне сей печальной,
Где сном покрыто лоно нив,
И небо—ризой погребальной.

А. Грибоедов.

ТАЛЬОНИ-ГРАЦИЯ.

...Является ли дева рая
Гитаной, девою Дуная,
Качучей—дочерью степей,
Или волшебницей Сильфидой:
Пленительна во всяком виде!
Все Грацию мы видим в ней!
Смотрите, как она порхает
На крылышках или без крыл,
Игриво, плавно, как зефир;
То грациозно стан сгибает,
То ножкой легкою махнет,
То ножкой ножку нежно бьет;
Как вихрь, на пальчике кружится,
И вдруг, как статуя стоит.
Вот миг—списать... не шевелится;
И вдруг вспорхнет и полетит.
К кому-то руки простирает,
Улыбкою любви дарит,
И пантомимой говорит.
Подруг воздушных призывает,
В восторге пламенных страстей!
Вот Грации танцуют с ней
По лире сладкой Аполлона,
Внимая звукам с Геликона.
Кругом крылатые божки
Бросают стрелы и венки.
. . . .

М. Поднебесный.

ФАННИ ЭЛЬСЛЕР,

в день ее последнего представления.

Не улетай, прелестное созданье,
Не покидай тобой плененный край!
Останься нам, сердец очарованье,
Не улетай!..

Мы все твои!.. Тебя мы полюбили,
И сцена нам тобою стала рай,
Где полной мы восторга жизнью жили, —
Не улетай!..
Ты солнце нам в годину вьюги снежной,
Ты роза нам в ненастный зимний день;
Цвети и грей!.. Не исчезай небрежно
Как счастья тень!..
И стар и млад восхищены тобою,
Соперниц нет меж женщин у тебя: —
Гордимся все твоею мы красою,
Ее любя!..
Как сон, как воплощенье идеала,
Как первообраз прелестей земных, —
Явилась ты,—и зависть замолчала
В устах немых!
И все тебе радушно рукоплещут,
Всех очи, всех сердца прельщаешь ты,
И всех мечты у ног твоих трепещут,
Как их цветы!..
Послушай нас, в Москву вернися снова,
Друзей твоих на век не оставляй;
В прощальный день, без радостного слова
Не улетай!..

Гр. Растопчина.

Москва, в Воскресенье, 18-го Февраля, 1851 г.

БАЛЕТ.

...Я был престранных правил,
Поругивал балет;
Но раз бинокль подставил
Мне генерал-сосед.

Я взял его с поклоном
И с час не возвращал.
«Однако, вы — *астроном*!»
Сказал мне генерал.

Признаться, я немножко
Смутился (о, профан!)
«Нет... я... но эта ножка...
Но эти плечи... стан...»

Шептал я генералу,
А он, смеясь в ответ:
«*В стремленье к идеалу*
Дурного, впрочем, нет.

«Не все ж читать вам Бокля!
Не стоит этот Бокль
Хорошего бинокля...
Купите-ка бинокль!»

Купил!—и пред балетом
Я преклонился ниц.
Готов я быть поэтом
Прелестных танцовщиц!

Как не любить балета?
Здесь мирный гражданин
Позабывает лета,
Позабывает чин,

И только ловят взоры
В услужливый лорнет,
Что «ножкой Терпсихоры»
Именовал поэт.

Не так следит астро́ном
За новою звездой,
Как мы... но для чего нам
Смеяться над собой?

В балете мы наивны,
Мы глупы в этот час:
Почти-что конвульсивны
Движения у нас!

Вот выпорхнула дева,
Бинокли поднялись;
Взвилася ножка влево —
Мы влево подались;

Взвилася ножка вправо —
Мы вправо... — Берегись!
Не вывихни сустава,
Приятель... «Фора! bis!»

Bis!.. Но девы, подобные ветру,
Улетели гирляндой цветной!
. . . .

Н. Некрасов.

АЙСЕДОРА ДЁНКАН.

...Я помню пляску нимфы Диркейских струй,
О Айседора, рощ Эриманфских цвет!
В покрове из цветов весенних
Ты устремлялась к родному солнцу!

То резвым фавном, ствол приложив к губам,
Топтала стебли диких, лесных цветов;
То, наклоняясь к белой влаге,
Изнемогала в истоме сладкой.

То, позабывши шелест родных дубрав,
Хитоном красным нежную скрывши грудь,
Сменяла ты напев свирельный
Новыми гимнами арф небесных.

Ты заменяла родины злачный луг
Садами кринов и золотых плодов,
И полевые розы Мосха
Райскою лилией Фра Беато.

То нисходила в бледный загробный мир,
Чаруя лирой страждущий хор теней.
Услышь мой голос, Евридика,
Голос любви за печальным Орком!
. . . .

Сергей Соловьев.

БАЛЕРИНЕ ПАВЛОВОЙ.

Балерина Павлова!
Белый и воздушный,
Белый и безкрылый
Лебедь умирающий,
Голову прекрасную,
Шейку свою тонкую
От предсмертной тягости
На груди склоняющий...
Балерина Павлова:
Лебедь моя белая!
Лебедь моя белая,
Вправду, умираете?
Балерина Павлова,
Балерина Павлова,
Подымите голову
Смертью обраненную...
Балерина Павлова,
Лучше б не видала я
Лебедь передсмертную,
Вами воплощенную...
Балерина Павлова,
Дышите ли? дышите ли?
Снова ли стальною ножкой зашевелите?
Балерина Павлова,
Слышите ли? Слышите ли?..
Поняла Вас, Павлова!
Верите ли? Верите ли?..

Л. Некрасова.

Т. П. КАРСАВИНОЙ.

Край неба в улице далекой
Болото зорь заволокло,
Лишь конькобежец одинокий
Чертит озерное стекло.

Капризны быстрые зигзаги,
Еще полет, один, другой...
Как острием алмазной шпаги
Прорезан вензель дорогой.

В холодном зареве не так ли
И Вы ведете свой узор,
Когда в блистательном спектакле
У Ваших ног—малейший взор.

Вы — Коломбина, Саломея,
Вы каждый раз уже не та,
Но все яснее пламенея,
Златится слово: «красота».

М. Кузмин.

Т. П. КАРСАВИНОЙ.

Долго молили о танце мы вас, но молили напрасно,
Вы улыбались рассеянно и отказали бесстрастно.

Любит высокое небо и древние звезды поэт,
Часто он пишет баллады, но редко ходит в балет.

Грустно пошел я домой, чтоб смотреть в глаза тишине,
Ритмы движений не бывших звенели и пели во мне.

Только так сладко знакомая вдруг расцвела тишина,
Словно приблизилась тайно иль стала солнцем луна;

Ангельской арфы струна порвалась и мне слышится звук:
Вижу два белые стебля высоко закинутых рук,

Губы ночные, подобные бархатным красным цветам...
Значит танцуете все-таки вы, отказавшая там!

В синей тунике из неба ночного затянутый стан
Вдруг разрывает стремительно залитый светом туман,

Быстро змеистые молнии легкая чертит нога
—Видит наверно такие виденья блаженный Дега,

Если за горькое счастье и сладкую муку свою
Принят он в сине-хрустальном высоком Господнем раю.

...Утром проснулся и утро вставало в тот день лучезарно,
Был ли я счастлив? Но сердце томилось тоской благодарной.

Н. Гумилев.

ЕКАТЕРИНЕ ГЕЛЬЦЕР.

И вот она! Театр безмолвнее
Невольника перед царем.
И палочка взвилась, как молния,
И вновь оркестра грянул гром.

Лучи ль над ней свой блеск умножили,
Иль от нее исходит день?
И отрок рядом с ней—не то же ли,
Что солнцем брошенная тень?

Его непостоянством мучая,
Носок вонзает в пол, и вдруг,
Как циркулем, ногой летучею
Вокруг себя обводит круг.

И, следом за мгновенным роздыхом,
Пока вскипает страсть в смычках,
Она как бы вспененным воздухом
Взлетает на его руках...

Так встарь другая легконогая
—Прабабка «русских Терпсихор»—
Сердца взыскательные трогая,
Поэта зажигала взор.

У щеголей не те же чувства ли,
Но разочарованья нет:
На сцену наведен без устали
Онегина «двойной лорнет».

София Парнок.





МУЗЫКА

СЕБАСТИАН БАХ.

Не океан шумит волнами,
Дробясь о сумрачный гранит,
Не вешний гром, звуча над нами,
О тайнах неба говорит, —

То гений песне вдохновенной
Доверил пылкие мечты
О вечном трепете вселенной
В созвучьях вечной красоты.

Восторгом пламенным объяты,
Светила в небе голубом
Поют Всевышнему кантаты,
Поют неведомый псалом.

Но гений силой вдохновенья
В миры надзвездные проник —
И переводит их моленья
На человеческий язык.

К. Льдов.

БАХ.

Здесь прихожане—дети праха
И доски вместо образов,
Где мелом, Себастьяна Баха,
Лишь цифры значатся псалмов.

Разноголосица какая
В трактирах буйных и церквах,
А ты ликуешь, как Исайя,
О рассудительнейший Бах!

Высокий спорщик, неужели,
Играя внукам свой хорал,
Опору духа в самом деле
Ты в доказательстве искал?

Что звук? Шестнадцатые доли,
Органа многосложный крик,
Лишь воркотня твоя, не боле,
О, несговорчивый старик!

И лютеранский проповедник
На черной кафедре своей
С твоими, гневный собеседник,
Мешает звук своих речей!

О. Мандельштам.

СТАРИННАЯ МЕЛОДИЯ.

В горнице столь милой печечкою белой,
В сумерках чуть виден кто-то за клавиром.
От углов, уж черных, и от печи белой
Веет отошедшим, да, прошедшим миром.

Старый мир струится тихо под перстами,
Старый мир являет внове прелесть звука.
Кто-то за клавиром оживил перстами
Дорогие думы Кавалера Глука.

Тихон Чурилин.

МОЦАРТ

(за фортепиано).

Представь себе... кого бы?
Ну, хоть меня—немного помоложе;
Влюбленного—не слишком, а слегка;
С красоткой, или с другом—хоть с тобой;
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Внезапный мрак иль что-нибудь такое...
Ну, слушай же.

А. Пушкин.

* * *

Но уж темнеет вечер синий;
Пора нам в оперу скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень—Орфей.
Не внемля критике суровой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льет—они кипят,
Они текут, они горят,
Как поцелуи молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего аи
Струя и брызги золотые...
Но, господа, позволено ль
С вином равнять do-re-mi-sol?

А. Пушкин.

«ANRUF AN DIE GELIEBTE» БЕТХОВЕНА.

Пойми хоть раз тоскливое признанье,
Хоть раз услышь души молящей стон:
Я пред тобой, прекрасное созданье,
Безвестных сил дыханьем окрылен.

Я образ твой ловлю перед разлукой,
Я полон им, и млею, и дрожу,
И, без тебя—томясь предсмертной мукой,
Своей тоской как счастьем дорожу.

Ее пою, во прах упасть готовый,
Ты предо мной стоишь как божество, —
И я блажен: я в каждой муке новой
Твоей красы провижу торжество.

А. Фет.

СУДЬБА.

(К V-й симфонии Бетховена.)

С своей походною клюкой,
С своими мрачными очами —
Судьба, как грозный часовой,
Повсюду следует за нами.
Бедой лицо ее грозит,
Она в угрозах поседела,
Она уж многих одолела,
И все стучит, и все стучит:
Стук, стук, стук!..
Полно, друг,
Брось за счастием гоняться!
Стук, стук, стук!..

Бедняк совсем обжился с ней:
Рука с рукой они гуляют,
Сбирают вместе хлеб с полей,
В награду вместе голодают.
День целый дождь его кропит,
По вечерам ласкает вьюга,
А ночью, с горя да с испуга,
Судьба сквозь сон ему стучит:
Стук, стук, стук!..
Глянь-ка, друг,
Как другие поживают.
Стук, стук, стук!..

Другие праздновать сошлись
Богатство, молодость и славу.
Их песни радостно неслись,
Вино сменилось им в забаву;
Давно уж пир у них шумит,
Но смолкли вдруг, бледнея, гости...
Рукой, дрожащею от злости,
Судьба в окошко к ним стучит:
Стук, стук, стук!..
Новый друг
К вам пришел,—готовьте место!
Стук, стук, стук!..

Но есть же счастье на земле!
Однажды, полный ожиданья,
С восторгом юным на челе,
Пришел счастливец на свиданье.
Еще один он, все молчит,
Заря за рощей потухает,
И соловей уж затихает,
А сердце бьется и стучит:
Стук, стук, стук!..
Милый друг,
Ты придешь ли на свиданье?
Стук, стук, стук!..

Но, вот, идет она, и вмиг
Любовь, тревога, ожиданье,
Блаженство,—все слилось у них
В одно безумное лобзанье!
Немая ночь на них глядит,
Все небо залито огнями,
А кто-то тихо, за кустами,
Клюкой докучною стучит:
Стук, стук, стук!..
Старый друг
К вам пришел,—довольно счастья!
Стук, стук, стук!..

А. Апухтин.

* * *

Нет, то не . . . .
. . . .
. . . . . Бетховен, когда находил он свой марш похоронный,
Брал из себя этот ряд раздирающих сердце аккордов,
Плач неутешной души над погибшей великою мыслью,
Ру́шенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса?
Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве,
Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыданья.

Гр. А. Толстой.

ОБРАЗ ВЕЧНОСТИ.

Бетховену.

Образ возлюбленной—Вечности —
встретил меня на горах.
Сердце в беспечности.
Гул, прозвучавший в веках.
В жизни загубленной
образ возлюбленной—Вечности,
с ясной улыбкой на милых устах.

Там стоит,
там манит рукой...
И летит
мир предо мной,
вихрь крутит
серых облак рой.

Полосы солнечных струй златотканные
в облачной стае горят...
Чьи-то призывы желанные,
чей-то задумчивый взгляд.

Я стар – сребрится
мой ус и темя,
но радость снится.
Река что время:
летит—кружится...

Мой челн сквозь время,
сквозь мир помчится.

И умчусь сквозь века в лучесветную даль..
И в очах старика
не увидишь печаль.

Жизни не жаль
мне загубленной.
Сердце полно несказанной беспечности —
образ возлюбленной,
образ возлюбленной
— Вечности!..

Андрей Белый.

BEETHOVENIANA.

Снилось мне: сквозит завеса
Меж землей и лицом небес.
Небо—влажный взор Зевеса,
И прозрачный грустит Зевес.

Я прочел в склоненном взоре
Голубеющую печаль.
Вспухнет вал—и рухнет—в море;
Наших весен ему не жаль.

Возгрустил пустынник неба,
Что ответный, отсветный лик —
Ах, лишь омутом Эреба
Повторенный его двойник...

Вечных сфер святой порядок
И весь лик золотых Идей
Яркой красочностью радуг
Льнули к ночи его бровей,

Обвивали, развевали
Ясной солнечностью печаль;
Нерожденных солнц вставали
За негаданной далью даль.

Но печаль гасила краски...
И взвенел, одичав, тимпан;
Взвыл кимвал: Сатирам пляски
Повелел хохотливый Пан.

Их вскружился вихорь зыбкий,
Надрывалась дуда звончей, —
И божественной улыбкой
Прояснилась печаль очей.

Вячеслав Иванов.

MISSA-SOLENNIS, БЕТХОВЕНА.

В дни, когда святые тени
Скрылись дале в небеса,
Где ты внял, надзвездный гений,
Их хвалений голоса?

В дни, как верных хор великий,
Разделенный, изнемог,
Их молитв согласны лики
Где подслушал ты, пророк?

У поры ли ты забвенной,
У грядущей ли исторг
Глас надежды неизменной,
Веры мощь, любви восторг?

Но и в оны веки лира
Псалмопевная царя
Не хвалила Агнца Мира,
Столь всевнятно говоря!

Ибо ты в сем громе пирном,
В буре кликов, слез и хвал
Слиться с воинством эфирным
Человечество созвал.

Вячеслав Иванов.

TRÄUMEREI.

Сливались ли это тени,
Только тени в лунной ночи мая?
Это блики, или цветы сирени
Там белели, на колени
Ниспадая?
На яву ль и тебя ль безумно
И бездумно
Я любил в томных тенях мая?
Припадая к цветам сирени
Лунной ночью, лунной ночью мая
Я твои ль целовал колени,
Разжимая их и сжимая,
В томных тенях, в томных тенях мая?
Или сад был одно мечтанье
Лунной ночи, лунной ночи мая?
Или сам я лишь тень немая?
Иль и ты лишь мое страданье
Дорогая,
Оттого, что нам нет свиданья
Лунной ночью, лунной ночью мая...

Иннокентий Анненский.

ШОПЕНУ.

Ты мелькнула, ты предстала, —
Снова сердце вздрожало...
Под чарующие звуки,
То же счастье, те же муки,
Слышу трепетные руки, —
Ты еще со мной!
Час блаженный, час печальный,
Час последний, час прощальный!
Те же легкие одежды, —
Ты стоишь, склоняя вежды, —
И не нужно мне надежды:
Этот час—он мой!

Ты руки моей коснулась, —
Разом сердце встрепенулось...
Не туда, в то горе злое, —
Я несусь в мое былое,
Я на все, на все иное
Отпылал, потух!
Этой песне чудотворной
Так покорен мир упорный!
Пусть же сердце, полно муки,
Торжествует час разлуки,
И, когда загаснут звуки, —
Разорвется вдруг!

А. Фет.

ЛИСТУ.

Когда в груди твоей—созвучий
Забьет таинственный родник
И на чело твое из тучи
Снисходит огненный язык;

Когда, исполнясь вдохновенья,
Поэт и выспренний посол!
Теснишь души своей виденья
Ты в гармонический глагол:

Молниеносными перстами
Ты отверзаешь новый мир
И громозвучными волнами
Кипит, как море, твой клавир;

И в этих звуках скоротечных,
На землю брошенных тобой,
Души бессмертной, таинств вечных
Есть отголосок неземной.

Кн. П. Вяземский.

LACRIMOSA.

Из „Реквиема“ Берлиоза.

Кто смеет здесь страдать, кто плакать и вздыхать?
Здесь человечества последние мгновенья!
Несется ангелов бесчисленная рать
И грозно медь гремит глаголом обличенья.

Кто смеет здесь страдать? Карающий Господь
Воссел, неумолим,—и в мире стон несется,
Безумным трепетом исполнилася плоть
И перед истиной на части сердце рвется.

Над этим хаосом раскаянья и мук
Грохочет рев трубы, под ним—весь ад смеется...
Кто смеет здесь страдать? Раздался трубный звук—
И чье отчаянье пред ним не содрогнется?

Б. Никольский.

ПАМЯТИ ВАГНЕРА.

Умер волшебник. Безмолвно над свежей могилою
Стелется вечного неба простор.
Тихо. Но в сердце звучит с возрастающей силою
Стройный, незримо-таинственный хор.

Снова рыдают Тангейзера страстные струны,
Снова пост у могилы Вольфрам,
Глухо откликнулись Эдды зловещие руны,
Близкую гибель пророча богам.

Буря ревет и грохочет в ущелии диком,
С плачем и свистом летит ураган,
В молниях мчатся Валькирии, с бешеным криком
В огненном вихре несется Вотан,

Озера блещут зеркальные тихие воды,
Манит зеленая светлая даль;
Вдруг озаряя высокие стройные своды
Кровью и пламенем светит Грааль.

Умер волшебник. Но все, что̀ он вырвал у рока:
Боги, герои, вражда и любовь,
Все, что̀ в минувшего бездне таилось глубоко,
В звуках и образах носится вновь.

Кн Д. Цертелев.

К ДЕБЮССИ.

Какая новая любовь и нежность
Принесена с серебряных высот!
Лазурная святая безмятежность,
Небесных пчел медвяный, легкий сот!

Фонтан Верлэна, лунная поляна
И алость жертвенных открытых роз,
А в нежных прерывающихся piano
Звенит полет классических стрекоз.

Пусть говорит нам о сиамских девах,
Далеких стран пленяет красота,—
В раздробленных, чуть зыблемых напевах
Слышна твоя, о Моцарт, простота.

И легкая, восторженная Муза,
Готовя нежно лепестки венца,
Старинного приветствует француза
И небывалой нежности творца!

М. Кузмин.

МУЗЫКА.

(Посв. П. И. Чайковскому.)

И плывут, и растут эти чудные звуки!
Захватила меня их волна...
Поднялась, подняла и неведомой муки,
И блаженства полна...
И божественный лик, на мгновенье,
Неуловимой сверкнув красотой,
Всплыл, как живое виденье
Над этой воздушной, кристальной волной,—
И отразился,
И покачнулся,
Не то улыбнулся...
Не то прослезился...

Я. Полонский.

А. Г. РУБИНШТЕЙНУ.

Вот он, рассеянный, как будто бы небрежно
Садится за рояль—вот гамма, трель, намек
На что-то—пропорхнул как будто ветерок—
Лелеющий мотив, и ласковый, и нежный...
Вот точно светлый луч прорезал небеса—
И радость на земле, и торжество в эфире!
Но, вдруг удар!.. другой!.. Иной мотив взвился,
И дико прядает все выше он, и шире!
Он словно вылетел из самых недр земных,
Как будто вырвались и мчатся в шуме бури,
На встречу ангелам, тьмы демонов и фурий.
Ветхозаветный спор, спор вечный из-за нас

Решается ль теперь?.. Дрожат и стонут долы,
Мятется океан, в раскатах громовых
Архангельской трубы проносятся глаголы,
А тучи темных сил все новые летят!..
Художник в ужасе: пред ним разверстый ад,
Самим им вызванный, хохочущий, гремящий,
Ослить уж его и самого грозящий...
А человечество! О, жалкое дитя!
Ты чувствуешь, что бой, тот бой из-за тебя!
Ты чувствуешь свое бессилье и паденье,
Ты ловишь проблески небесного луча,
В молитве падаешь... молитва горяча
Над бездной! То порыв, обет перерожденья!..
Но успокойся! Вот уж над тобой светло:
Архангел победил!.. Художника чело
Яснеет... Он к тебе нисходит и с тобою
— Сам человек уже и духом просветлен—
Сливает голос свой с молитвой мировою...
Он кончил... Вот он встал, разбит, изнеможен,
Уходит... Крики в след!..
Чем крики те звучат!
Художник, слышишь ты?.. То гул благословений!
Да, да, благословен, благословен стократ
Твой, в царство света нас переносящий, гений!

А. Майков.

РУБИНШТЕЙНУ.

Когда перед столичною толпою
Выходишь ты, как лев, уверенной стопою,
И твой небудничный, величья полный вид
Приветствует она восторга громким гулом,—
Мне кажется: опять Давид
Играть явился пред Саулом...
Явился в этот век безумный и больной,
Чтоб в гордые умы пролить забвенья чары,
Чтоб усыпить вражду, чтоб разогнать кошмары,
Чтоб озарить сердца надеждой неземной...

И вот ты сел играть, вот клавиши проснулись,
И полились, журча, хрустальные ключи.
От мощных рук твоих горячие лучи
Ко всем сердцам незримо протянулись,
И растопили в них забот упорный лед.
Средь моря бурного столицы многолюдной
Ты вдруг создал, как бог, какой-то остров чудный.
Ты крылья дал мечтам—и молодость вперед
На этих крыльях полетела,
Вперед, в страну надежд, где силам нет преград,
Измены нет в любви и счастью нет предела.
А старость грустная умчалася назад,
В заглохший край воспоминаний,
Невинных слез и трепетных признаний.
И высоко над бездной суеты,
Прильнув к твоей душе, вознеслась душа поэта,
Туда, перед лицо бессмертной красоты,
В эдем негаснущего света.

Ты в мертвые сердца огонь любви вдохнул,
Ты воскресил все то, что опыт умерщвляет.
И молится толпа, и плачет, как Саул,
И гений твой благословляет...

Н Минский.

ПАМЯТИ СКРЯБИНА.

Осиротела Музыка. И с ней
Поэзия, сестра, осиротела.
Потух цветок волшебный, у предела
Их смежных царств, и пала ночь темней

На взморие, где новозданных дней
Всплывал ковчег таинственный. Истлела
От тонких молний духа риза тела,
Отдав огонь источнику огней.

Исторг ли Рок, орлицей зоркой рея,
У дерзкого святыню Прометея?
Иль персть опламенил язык небес?

Кто скажет: побежден иль победитель,
По ком, — немея кладбищем чудес, —
Шептаньем лавров плачет Муз обитель?

Вячеслав Иванов.

ВЕЛИКИЙ ОБРЕЧЕННЫЙ.

Он чувствовал симфониями света,
Он слиться звал в один пловучий храм —
Прикосновенья, звуки, фимиам,
И шествия, где танцы как примета, —

Всю солнечность, пожар цветов и лета,
Все лунное гаданье по звездам,
И громы тут, и малый лепет там,
Дразненья музыкального расцвета.

Проснуться в Небо, грезя на Земле.
Рассыпав вихри искр в пронзенной мгле,
В гореньи жертвы был он неослабен.

И так он вился в пламенном жерле,
Что в Смерть проснулся, с блеском на челе,
Безумный эльф, зазыв, звенящий Скрябин.

К. Бальмонт.

ЭЛЬФ.

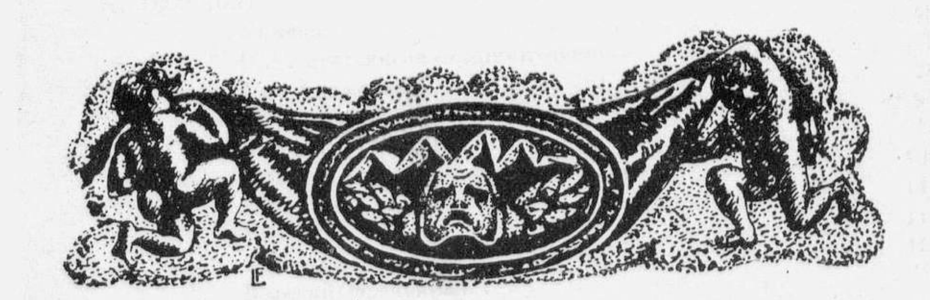
Сперва играли лунным светом феи.
Мужской диэз, и женское, бемоль,
Изображали поцелуй и боль.
Журчали справа малые затеи.

Прорвались слева звуки — чародеи.
Запела Воля вскликом слитных воль.
И светлый Эльф, созвучностей король,
Ваял из звуков тонкие камеи.

Завихрил лики в токе звуковом.
Они светились золотом и сталью,
Сменяли радость крайнею печалью.

И шли толпы. И был певучим гром.
И человеку Бог был двойником.
Так Скрябина я видел за роялью.

К. Бальмонт.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

Р. Ц. Вх. 110. 1000 экз.

39-я типография М. С. Н. Х. «Мосполиграф».